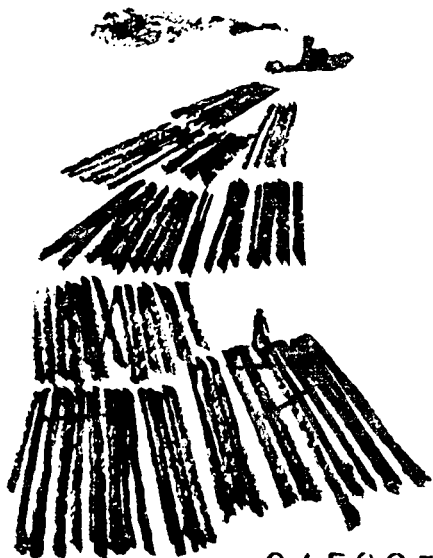


В. ТЕНДРЯКОВ

ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ

П О В Е С Т Ь



845823

РИСУНКИ П. ПИНКИСЕВИЧА

МОСКВА · ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА · 1977

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Тендряков В. Ф.

Т33 Весенние перевертыши. Повесть. 2-е изд. Рис.
П. Пинкисевича. М., «Дет. лит.», 1977.

96 с. с ил.

Повесть о подростке, первой влюбленности, под влиянием которой мир преобразается в глазах мальчика. Эта книга об активной позиции человека в жизни, о необходимости отстаивать и защищать свои высокие идеалы.

Т $\frac{70803-237}{M101(03)77}$ 277-77

P2



Дюшка Тягунов знал, что такое хорошо, что такое плохо, потому что прожил на свете уже тринадцать лет. Хорошо — учиться на пятерки, хорошо — слушаться старших, хорошо — каждое утро делать зарядку...

Учился он так себе, старших не всегда слушался, зарядку не делал, конечно, не примерный человек — где уж! — однако таких много, себя не стыдился, а мир кругом был прост и понятен.

Но вот произошло странное. Как-то вдруг, ни с того ни с сего. И ясный, устойчивый мир стал играть с Дюшкой в перевертыши.

Он пришел с улицы, надо было садиться за уроки. Ва-ся-в-кубе задал на дом задачку: два пешехода вышли одновременно... Вспомнил о пешеходах, и стало тоскливо. Снял с полки первую подвернувшуюся под руку книгу. Попались «Сочинения» Пушкина. Не раз от нечего делать Дюшка читал стихи в этой толстой старой книге, смотрел редкие картинкп. В одну картинку вглядывался чаще других — дама в светлом платье, с курчавящимися у висков волосами.

Исполпились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Наталья Гончарова, жена Пушкина, кому не известно — красавица, на которую клал глаз сам царь Николай. И не раз казалось: на кого-то она похожа, на кого-то из знакомых,—но как-то недодумывал до конца. Сейчас вгляделся и вдруг понял: Наталья Гончарова похожа на... Римку Братеневу!

Римка жила в их доме, была старше на год, училась на класс выше. Он видел Римку в день раз по десять. Видел только что, минут пятнадцать назад,—стояла вместе с другими девчонками перед домом. Она и сейчас стоит там, сквозь немые весенние двойные рамы среди других девчоночьих голосов — ее голос.

Дюшка вглядывался в Наталью Гончарову — курчавинки у висков, точеный нос...

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Красавица!.. Голос Римки за окном.

Дюшка метнулся к дверям, сорвал с вешалки пальто. Надо проверить: в самом ли деле Римка красавица?

А на улице за эти пятнадцать минут что-то случилось. Небо, солнце, воробьи, девчонки — все как было, и все не так. Небо не просто синее, оно тянет, оно засасывает, кажется, вот-вот приподымешься на цыпочки да так и останешься на всю жизнь. Солнце вдруг косматое, непричесанное, весело-разбойное. И недавно освободившаяся от снега, продавленная грузовиками улица сверкает

лужами, похоже, поеживается, дышит, словно ее пучит изнутри. И под ногами что-то посапывает, лопается, шевелится, как будто стоишь не на земле, а на чем-то живом, изнемогающем от тебя. И по живой земле прыгают сухие, пушистые, согретые воробьи, ругаются надсадно, весело, почти что понятно. Небо, солнце, воробьи, девчонки — все как было. И что-то случилось.

Он не сразу перевел глаза в ее сторону, почему-то вдруг стало страшно. Неровно стучало сердце: не надо, не надо, не надо! И звенело в ушах.

Не надо! Но он пересилил себя...

Каждый день видел ее раз по десять... Долговязая, тонконогая, нескладная. Она выросла из старого пальто, из жаркой тесноты сквозь короткие рукава вырываются на волю руки, ломко-хрункие, легкие, летающие. И тонкая шея круто падает из-под вязаной шапочки, и выбившиеся непослушные волосы курчавятся на висках. Ему самому вдруг стало жарко и тесно в своем незастегнутом пальто, он сам вдруг ощутил на своих стриженных висках щекотность курчавящихся волос.

И никак нельзя отвести глаз от ее легко и бесстрашно летающих рук. Испуганное сердце колотилось в ребра: не надо, не надо!

И опрокинутое синее небо обнимает улицу, и разбойное солнце нависает над головой, и постанывает под ногами живая земля. Хочется оторваться от этой страдающей земли хотя бы на вершок, поплыть по воздуху — такая внутри легкость.

О чем-то болтают девчонки. О чем? Их голоса перепутались с воробьиным базаром — веселы, бессмысленны, слов не разобрать.

Но вот изнутри толчок — сейчас девчоночий базар кончится, сейчас Римка махнет в последний раз легкой рукой, прозвенит на прощание: «Привет, девочки!» И повернется в его сторону! И пройдет мимо! И увидит его лицо, его глаза, угадает в нем поднимающуюся легкость. Мало ли чего угадает... Дюшка смятенно повернулся к воробьям.

— Привет, девочки! — И невесомые топ, топ, топ за его спиной, едва касаясь земли.

Он глядел на воробьев, но видел ее — затылком сквозь зимнюю шапку: бежит вприпрыжечку, бережно несет перед собой готовые в любой момент взлететь руки, задран

тупой маленький нос, блестят глаза, блестят зубы, вздрагивают курчавишки на висках.

Топ, топ — невесомое уже по ступенькам крыльца, хлопнула дверь, и воробьи сорвались с водопадным шумом.

Он освобожденно вздохнул, поднял голову, повел недобрым глазом в сторону девчонок. Все знакомы: Лялька Сивцева, Гуляева Галка, толстая Понюхина с другого конца улицы. Знакомы, не страшны, интересны только тем, что недавно разговаривали с ней — лицом к лицу, глаза в глаза, надо же!

А раскаленная улица медленно остывала — небо становилось обычно синим, солнце не столь косматым. А сам Дюшка обрел способность думать.

Что же это?

Он хотел только узнать: похожа ли Римка на Наталью Гончарову? «Тебя мне ниспослая, тебя, моя Мадонна...» Он и сейчас не знает — похожа ли?

Двадцать минут назад ее видел.

За эти двадцать минут она не могла измениться.

Значит — он сам... Что с ним?

Вдруг да сходит с ума?

Что, если все об этом узнают?

Страшней всего, если узнает она.

2

Дюшка жил в поселке Куделино на улице Жан-Поля Марата. Здесь он и родился тринадцать лет тому назад. Правда, улицы Жан-Поля Марата тогда не было, сам поселок тоже только что рождался — на месте деревни Куделино, стоявшей над дикой рекой.

Дюшка помнит, как сносились низкие бараки, как строились двухэтажные улицы — Советская, Боровая, имени Жан-Поля Марата, названная так потому, что в тот год, когда ее начинали строить, был юбилей французского революционера.

В поселке была лесоперевалочная база, речная пристань, железнодорожная станция и штабеля бревен. Эти штабеля — целый город, едва ли не больше самого поселка, со своими безымянными улочками и переулками, тупиками и площадями, чужой человек легко мог заблудить-

ся среди них. Но чужаки редко появлялись в поселке. А здесь даже мальчишки хорошо разбирались в лесе — тарокряж, крепеж, баланс, резонанс...

Надо всем поселком возносится узкий, что решетчатый штык в небо, кран. Он так высок, что в иные, особо угрюмые, дни верхушкой прячется в облака. Его видно со всех сторон за несколько километров от поселка.

Он виден и из окон Дюшкиной квартиры. Когда семья садится за обеденный стол, то кажется — большой кран рядом, вместе с ними. О нем за столом каждый день ведутся разговоры. Каждый день целый год отец жаловался на этот кран: «Слишком тяжел, сатана, берег реки не выдерживает, оседает. В гроб загонит, будет мне памятник на могилу в полмиллиона рублей!» Кран не загнал отца в могилу, отец теперь на него поглядывает с гордостью: «Мое детище». Ну, а Дюшка большой кран стал считать своим братом — дома с ним, на улице с ним, никогда не расстаются, даже когда засыпает, чувствует — кран ждет его в ночи за окном.

Отец Дюшки был инженером по механической выгрузке леса, мать — врачом в больнице, ее часто вызывают к больным по ночам. Есть еще бабушка — Клавдия Климовна. Это не родная Дюшке бабушка, а приходящая. У нее в том же доме на нижнем этаже своя комнатка, но Климовна в ней только ночует. А когда-то даже и не ночевала — нянчилась с Дюшкой. Сейчас Дюшка вырос, нянчиться с ним нужды нет, Климовна ведет хозяйство и страдает за все: за то, что у отца оседает берег под краном, что у матери с тяжелобольным Гринченко стало еще хуже, что Дюшка снова схватил двойку. «О господи! — постоянно вздыхает она обреченно. — Жизнь прожить — не поле перейти».

3

Непривычная, словно раскаленная, улица остыла, снова стала по-знакомому грязной, обычной.

Ждать, ждать, пока Римка не выскочит из дома и улица опять не вспыхнет, не накалится.

Нет, сбежать, спрятаться, потому что стыдно же ждать девчонку.

Стыдно, и готов плюнуть на свой стыд.

Хочет — не хочет, хоть разорвись пополам!

А может, он и в самом деле разорвался на две части, на двух Дюшек, совсем не похожих друг на друга?

Бывало ли такое с другими? Спросить?.. Нет! Засмеют.

За домом на болоте слышались ребячьи голоса. Дюшка двинулся на них. Впервые в жизни, сам того не понимая, испытывал желание спрятаться от самого себя.

Болото на задах улицы Жан-Поля Марата не пересыхало даже летом — оставались ляжины, до краев заполненные черной водой.

Сейчас на окраине этого болота, как встревоженные галки, прыгали по кочкам ребята. Среди них в сливщицкой брезентовой куртке, в лохматой, «из чистой медвежатины», шапке — Санька Ераха. Дюшке сразу же расхотелось идти.

Санька считался на улице самым сильным среди ребят. Правда, сильнее Саньки был Левка Гайзер. Левке, как и Саньке, шел уже пятнадцатый год, он лучше всех в школе «работал» на турнике, накачал себе мускулы, даже, говорят, знал приемы джиу-джитсу и каратэ. Впрочем, Левка знал все на свете, особенно хорошо математику. Вася-в-кубе, преподаватель математики, говорил о нем: «Из таких-то и вырастают гении». И Левка не обращал внимания на Саньку, на Дюшку, на других ребят, никто не смел его задевать, он не задевал никого.

Дюшка среди ребят улицы Жан-Поля Марата, если считать Левку, был третьим по силе. Там, где был Санька, он старался не появляться. И сейчас лучше было бы повернуть обратно, но ребята, наверное, уже заметили, поверни — подумают, струсил.

Санька всегда выдумывал странные игры. Кто выше всех подбросит кошку. А чтоб кошка не убегала, чтоб не ловить ее после каждого броска, привязывали за ногу на тонкую длинную бечевку. Все бросали кошку по очереди, она падала на утоптанную землю и убежать не могла. И Санька бросал выше всех. Или же раз на рыбалке — кто съест живого пескаря? От выловленных на удочку пескарей пресно пахло речной тиной, они бились в руке, Дюшка не смог даже поднести ко рту — тошнило. И Санька издевался: «Неженка. Маленький сынок...» Сам он с хрустом умял пескаря не моргнув глазом — победил.

Сейчас он придумал новую игру.

На болоте стоял старый, заброшенный сарай, остав-

шийся еще с того времени, когда улица Марата только строилась. На его дощатой стене был нарисован мелом круг, вся стена заляпана слизистыми пятнами. Ребята ловили скачущих по кочкам лягушек. Их здесь водилось великое множество — воздух кипел, плескался, скрежетал от лягушачьих голосов. Плескался и кипел в стороне, а напротив сарая — мертвое молчание, лягушки затаились от охотников, но это их не спасало.

Санька, в своей лохматой шапке, деловито насупленный, принимал услужливо поднесенную лягушку, набрасывал веревочную петлю на лапку, строго спрашивал:

— Чья очередь? — И передавал из руки в руку веревочку со слабо барахтающейся лягушкой: — Бей!

Веревочку принял Петька Горюнов, тихий парнишка с красным, словно ошпаренным лицом. Он раскрутил привязанную лягушку над головой, выпустил из рук конец веревочки... Лягушка с тошнотно мокрым шлепком врезалась в стену. Но не в круг, далеко от него.

— Косорукий! — сплюнул Санька. — Беги за веревочкой!

Петька послушно запрыгал по дышащим кочкам к стене сарая.

Только теперь Санька посмотрел на подошедшего Дюшку — глаза впрозелень, словно запачканные болотом, редко мигающие, стоячие. Взглянул и отвернулся: «Ага, пришел, ну, хорошо же...»

— Мазилы все. Смотрите, как я вот сейчас... Лягуху давай! Эй ты там, косорукий, веревочку носи!

Колька Лысков, верткий, тощий, с маленьким, морщинистым, подвижным, как у обезьянки, лицом, для всех услужливый, а для Саньки особенно, подал пойманную лягушку. Запыхавшийся Петька принес веревочку.

— Смотрите все!

Санька не торопился, уставился в сторону сарая выпуклыми немигающими глазами, лениво раскачивал привязанную лягушку. А та висела на веревочке вприз головой, растопыренная, как рогатка, обмершая в ожидании расправы. А в стороне бурлили, скрежетали, постанывали тысячи тысяч погруженных в болото лягушек, знать не знающих, что одна из них болтается головой вниз в руке Саньки Ерахи.

На секунду лягушка перестала болтаться, повисла неподвижно. Санька подобрался. А Дюшка вдруг в эту ко-

роткую секунду заметил ускользавшую до сих пор мелочь: распятая на веревочке лягушка натужно дышала изжелта-белым мягким брюхом. Дышала и глядела бессмысленно выкаченным золотистым глазом. Жила вниз головой и покорно ждала...

Санька распрямился, сначала медленно, потом азартно, с бешенством раскрутил над шапкой веревочку и... мокрый шлепок мягким о твердое, в круге, обведенном мелом, — клякса слизи.

— Вот! — сказал Санька победно.

У Саньки под лохматой — «из чистой медвежатины» — шапкой широкое, плоское, розовое лицо, на нем торчком твердый решительный нос, круглые, совиные, с прозеленью глаза. Дюшка не мог вынести его взгляда, склонил к земле голову.

Под ногами валялся забуревший от старости кирпич. Дюшка постепенно отвел глаза от кирпича, натолкнулся на переминающегося краснорожего виноватого Петьку — «косорукий, не попал!» И Колька Лысков осклабился, выставил неровные зубы: до чего, мол, здорово ты, Ераха!

Воздух клокотал от влажно картавящих лягушачьих голосов. Никак не выгнать из головы висящую лягушку, дышащую мягким животом, глядящую ржаво-золотистым глазом. Широкое розовое лицо под мохнатой шапкой, а нос-то у Саньки серый, деревянный, неживой. Неужели никому не противен Санька? Петька виновато мнетя, Колька Лысков услужливо скалит зубы. Кричат лягушки, крик слепых, не видящих, не слышащих, не знающих ничего, кроме себя. Молчат ребята. Все с Санькой. У Саньки серый нос и зеленые болотные глаза.

— Теперь чья очередь? Ну?..

«Сейчас меня заставит», — подумал Дюшка и вспомнил о старом кирпиче под ногами. Весь подобрался...

— Дай я кину, — подсунулся к Саньке Колька Лысков, на синюшной мордочке несходящая умильная улыбочка. Он даже противнее Саньки!

— Вон Минька не кидал. Его очередь, — ответил Санька и снова покосился на Дюшку.

Минька Богатов самый мелкий по росту, самый слабый из ребят — большая голова дыней на тонкой шее, красный нос стручком, синие глаза. Дюшкин ровесник, учатся в одном классе.



Если Мишенька бросит, то попробуй после этого отказаться. Не один Санька — все накинутся: «Неженка, маменькин сыночек!» Все с Санькой... Кирпич под ногами, но против всех кирпич не поможет.

— Я не хочу, Санька, пусть Колька за меня.— Голос у Мишеньки тонкий, девичий, и синие страдальческие глаза, узкое лицо бледно и перекошено. А ведь Мишенька-то красив!..

Санька наставил на Мишеньку деревянный нос:

— Не хоч-чу!.. Все хотят, а ты чистенький!

— Санька, не надо... Колька воп просит.— Слезы в голосе.

— Бери веревочку! Где лягуха?

Кричит лягушачье болото, молчат ребята. У Мишеньки перекошено лицо—от страха, от брезгливости. Куда Мишеньке деться от Саньки? Если Санька заставит Мишеньку...

И Дюшка сказал:

— Не тронь человека!

Сказал и впился взглядом в болотные глаза.

Кричит вперелив лягушачье болото. Крик слепых. У Саньки в вязкой зелени глаз стерегущий зрачок, нос помертвевший и на щеках, на плоском подбородке стали расцветать пятна. Петька Горюнов почтительно отступил подальше, у Кольки Лыскова на старушечьем личике изумленная радость — обострилась каждая морщинка, каждая складочка: «Ну-у, что будет!»

— Не тронь его, сволочь!

— Ты... свихнулся? — У Саньки даже голос осел.

— Бросай сам!

— А в морду?..

— Скотина! Палач! Плевал я на тебя!

Для убедительности Дюшка и в самом деле плюнул в сторону Саньки.

Жестко округлив нечистые зеленые глаза, опустив плечи, отведя от тела руки, шапкой вперед, Санька двинулся на Дюшку, бережно перенося каждую ногу, словно пробуя прочность земли. Дюшка быстро нагнулся, выковырнул из-под ног кирпич. Кирпич был тяжел — так долго лежал в сырости, что насквозь пропитался водой. И Санька, очередной раз попробовав ногой прочность земли, озадаченно остановился.

— Ну?.. — сказал Дюшка.— Давай!

И подался телом в сторону Саньки. Санька заворужено и уважительно смотрел на кирпич. Клокотал и скреже-

тал воздух от лягушачьих голосов. Не дыша стояли в стороне ребята, и Колька Лысков обмирал в счастливом восторге: «Ну-у, будет!» Кирпич был надежно тяжел.

Санька пеловко, словно весь стал деревянным — вот-вот закрипит, — повернулся спиной к Дюшке, все той же оцупывающей походочкой двинулся на Миньку. И Минька втянул свою большую голову в узкие плечи.

— Бери веревочку! Ну!

— Минька! Пусть он тронет тебя! — крикнул Дюшка и, навешивая кирпич, шагнул вперед.

Колька Лысков отскочил в сторону, но счастливое выражение на съезженной физиономии не исчезло, наоборот, стало еще сильнее: «Что будет!»

— Бери, гад, веревочку!

— Минька, сюда! Пусть только заденет!

Минька не двигался, вжимал голову в плечи, глядел в землю. Санька нависал над ним, шевелил руками, поеживался спиной, однако Миньку не трогал.

Картаво кричало лягушачье болото.

— Минька, пошли отсюда!

Минька вжимал в плечи голову, смотрел в землю.

— Минька, да что же ты? — Голос Дюшки расстроено зазвенел.

Минька не пошевелился.

— Ты трус, Минька!

Молчал Минька, молчали ребята, передергивал спиной Санька, кричало болото.

— Оставайся! Так тебе и надо!

Сжимая в руке тяжелый кирпич, Дюшка боком, остунаясь на кочках, двинулся прочь.

По улице, прогибая ее, шли тяжкие лесовозы, заляпаные едкой весенней грязью. Они, должно быть, целый день пробивались из соседних лесопунктов по размытым дорогам, тащили на себе свежие, налитые соком еловые и сосновые кряжи. Они привезли из леса вместе с бревнами запах хвои, запах смолы, запах чужих далей, запах свободы.

Над крышами в оцветающем вечернем небе дежурил большой кран. Дюшкин друг и брат. И за рычанием лесовозов улавливался растворенный в воздухе невнятно-нежный звон.

Дюшка бросил ненужный кирпич. Дюшке хотелось плакать. Санька теперь не даст проходу. И Минька предал. И Миньку Санька все равно заставит убить лягушку. Хо-

телось плакать, но не от страха перед Санькой и уж не от жалости к Миньке — так ему и надо! — от непонятого. Сегодня с ним что-то случилось.

Что?

Кого спросить! Нет, нет! Нельзя! Ни отцу, ни матери, если только большому крану...

И Дюшка почувствовал вокруг себя пустоту — не на кого опереться, не за что ухватиться, живи сам как можешь. Как можешь?.. Земля кажется шаткой.

И стоит перед глазами Римка — легкие летающие руки, курчавящиеся у висков волосы... И не прогнать из головы дышащую животом лягушку... и он ненавидит Саньку! Все перепуталось. Что с ним сейчас?..

Рычат лесовозные машины, тащат тяжелые бревна, в тихом небе дремлет большой кран. Стоял посреди улицы Дюшка Тягунов, мальчишка, оглушенный самим собой.

Откуда знать мальчишке, что вместе с любовью приходит и ненависть, вместе с неистовым желанием братства — горькое чувство одиночества. Об этом часто не догадываются и взрослые.

Лесовозы прошли, но остался запах бензина и хвойного леса, остался растворенный в воздухе звон. Это с болот доносился крик лягушек. Крик неистовой любви к жизни, крик пестушлепной страсти к продолжению рода, и капель с крыш, и движение вод в земле, и шум взбудораженной крови в ушах — все сливалось в одну звенящую ноту, направлявшую небесный свод.

4

Дома шел разговор. Как всегда, шумно говорил отец, как всегда, о своем большом кране:

— Кто знал, что в этом году будет такой паводок! Берег подмывает, гляди да локти кусай — кувырнется в воду наш красавец. А кто настаивал: надо выдвинуть в реку бетонный мол. Нет, мол, — накладно. Из воды выуживать эту машину не накладно? Да дешевле новый кран купить! Всегда так — экономим на крохах, прогораем на ворохах!..

У матери остановившийся взгляд, направленный куда-то внутрь себя, в глубь себя. Она неожиданно перебила отца:

— Федя, ты не помнишь, что случилось пятнадцать лет назад?

— Пятнадцать лет?.. Гм!.. Пятнадцать... Нет, что-то не припомню... Кстати, как сегодня здоровье твоего Гринченко?

— Представь себе, лучше.

— А почему похоронное настроение, словно у тебя там несчастье?

— Да так... Вдруг вот вспомнилось... Пятнадцать лет назад бежали ручьи и капало с крыш, как сегодня.

Отец стоит посреди комнаты в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, вздохмаченная голова под потолок. Косит глазом на мать — озадачен.

— Что за загадки? Говори прямо.

— Пятнадцать лет назад, Федя, в этот день ты мне поднес... белые нарциссы, помнишь ли?

— Ах да!.. Да!.. Бежали ручьи... Помню.

— С этих цветов, собственно, и началось.

— Да, да.

— Ты тогда был неуклюжий, сутулился... Цветы, ручьи и твоя слоновья вежливость.

— Действительно... Я боялся тогда тебя.

— Я прижимала твои цветы и думала: господи, возможно ли так, чтобы просыпаться по утрам и видеть этого смущающегося слона день за днем, год за годом. Не верилось.

— Мы вместе, Вера. Пятнадцать лет...

— А вместе ли, Федор? Краны, тягачи, кубометры, инфаркты, нефриты — гора забот между нами. Чем дальше, тем выше она... Федя, ты мне уже никогда больше не дарил цветов. Те белые нарциссы — первые и последние.

Отец грузно зашагал по комнате, влезая нятерней в растрепанные волосы, мать глядела перед собой углубленными глазами.

— Белые нарциссы... — с досадой бормотал отец. — Я даже еловых шишек не могу здесь воднести, к нам приходят раздетые донага бревна... Вера, ты сегодня что-то не в настроении. Что-то у тебя случилось? Какая неприятность?

— Случилась очередная весна, Федя.

Мать и отец даже не заметили вернувшегося с улицы Дюшку, никто не спрашивал его, сделал ли он домашние задания. Он так и не решил задачу о двух пешеходах.

Бабушка Климовна штопала Дюшкин свитер, тоже прислушивалась к разговору о нарциссах, шумно вздохнула:

— Ох, батюшки! Мечутся, всё мечутся, не зная чего хотят.

Дюшку не волновали белые нарциссы, до них ли сейчас! Он потихоньку взял «Сочинения» Пушкина, убрался в другую комнату, раскрыл книгу на портрете Натальи Гончаровой. Белое бальное платье с вырезом, нежная шея, точеный нос, завитки волос на висках — красавица.

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

5

Утром он рано проснулся с кипучим чувством — скорей, скорей! Едва хватило сил позавтракать под воркотню Климовны, схватил свой портфель — и на улицу. Скорей! Скорей!

Но, сирывнув с крыльца, он понял, что поторопился.

Улица была тихо населена, но не людьми, а грачами. Большие парадно-мрачные птицы молчаливо вперевалку разгуливали по дороге, каждая в отрешенном уединении носила свой серый клюв, нет-нет да трогая им землю задумчиво, рассеянно, брезгливо. Большие птицы, черные, как головешки, углубленные в свои серьезные заботы. Странное население, а потому и сама улица Жан-Поля Марата кажется странной, словно в фантастической книжке: люди вымерли, хозяевами остались мудрые птицы, оди Дюшка случайно уцелел на всей земле. Представить и — бр-р-р! — жутковато.

Но жутковато так, между делом. Дюшку беспокоили сейчас не грачи, он только теперь сообразил, чего хотел, почему спешил: не пропустить Римку, чтобы идти следом за ней до самой школы (боже упаси, не рядышком!), издали глядеть, глядеть... Скывывающее пальто, кусочек тонкой белой шеи между воротником и вязаной шапочкой. Кусочек белой и теплой кожи...

Но пуста улица, по ней лишь гуляют прилетевшие из дальних стран грачи. Надо ждать, но это трудно, и скоро на улице появятся прохожие, станут подозрительно коситься: а почему мальчишка топчется у крыльца, а кого это он ждет?..

И опять влез в мысли непрошенный Санька Ераха. Он-то уж помнит вчерашнее, он-то уж непременно будет сторожить на дороге. Просто кулаками с Санькой не справиться. И снова в грудь отравой полилась бессильная ненависть: зачем только такая пакость живет на свете?

Дюшка стоял возле крыльца, глядел на грачей, на молодую, крепкую березку, окутанную по ветвям сквозным зеленым дымком, на старый пенёк посреди истоптанного двора. Днем этот пенёк как-то незаметен, сейчас нахально лезет в глаза. И неспроста!

Неожиданно Дюшка ощутил: что-то живет на пустой улице, что-то помимо грачей, березки, старого пня. Солнце переливалось через крышу, заставляло жмуриться, длинные тени пересекали помятую машинами дорогу, грачи блуждали между теньями, в полосах солнечного света. Что-то есть, что-то, заполняющее все, — невидимое, неслышимое, крадущееся по поселку мимо Дюшки. И оно всегда, всегда было, и никто никогда не замечал его. Никто никогда, ни Дюшка, ни другие люди!

Дюшка стоял затаив дыхание, боясь спугнуть свое хрупкое неведенье. Вот-вот — и откроется. Вот-вот — великая тайна, не подвластная никому. Стоит лишь поднапрячься — вот-вот...

Береза... Она в сквозной дымке. Вчера этой дымки не было — ночью распустились почки. Что-то тут, рядом, а не дается.

Грачи неожиданно, как по приказу, дружно, молча, деловито, с натужной тяжестью взлетели. Хлопанье крыльев, шум рассекаемого воздуха, сизый отлив черных перьев на солнце. Где-то в конце улицы сердито заколотился звук работающего мотора. Грачи, унося с собой шорох взбаламученного воздуха, растаяли в небе. Заполняя до крыш улицу грубым машинным рыком и грохотом расхлябанных металлических суставов, давя ребристыми скатами и без того вмятую щебенку, прокатил лесовоз-тягач с пустым мотающимся прицепом.

Он прокатил, скрылся за домами, но его грубое рычание еще долго билось о стены домов, о темные, маслянисто-отсвечивающие окна. Но и этот отзвук должен исчезнуть. Непременно. И он исчез.

И береза в зеленой дымке, которой вчера не было... Вот-вот — тайна рядом, вот-вот — сейчас!..

Пуста улица, нет грачей. Улица та же, но и не та — изменилась. Вот-вот... Кажется, он нащупывает след того невидимого, неслышимого, что заполняет улицу, крадется мимо.

Хлопнула где-то дверь, кто-то из людей вышел из своего дома. Скоро появится много прохожих. И улица снова изменится. Скоро, пройдет немного времени...

И Дюшка задохнулся — он понял! Он открыл! Сам того не желая, он назвал в мыслях то невидимое и неслышимое, крадущееся мимо: «Пройдет немного времени...»

Время! Оно крадется.

Дюшка его увидел! Пусть не само, пусть его следы.

Вчера на березе не было дымки, вчера еще не распустились почки — сегодня есть! Это след пробежавшего времени!

Были грачи — нет их! Опять время — его след, его шевеление! Оно унесло вдаль рычащую машину, оно скоро заполнит улицу людьми...

Беззвучно течет по улице время, меняет все вокруг.

И этот старый пень — тоже его след. Когда-то тут, давным-давно, упало семечко, проклюнулся росточек, стал тянуться, превратился в дерево...

Течет время, рождаются и умирают деревья, рождаются и умирают люди. Из глубокой древности, из безликих далей к этой вот минуте — течет, подхватывает Дюшку, несет его дальше, куда-то в щемящую бесконечность.

И жутко и радостно... Радостно, что открыл, жутко — открыл-то не что-нибудь, а великое, дух захватывает!

Течет время... Дюшка даже забыл о Римке.

— Дюшка...

Бочком, боязливо, склонив на плечо тяжелую голову в отцовской шапке, приблизился Минька Богатов — на узкие плечики навешен истрепанный ранец, руки зябко засунуты в карманы.

— Дюшка... — И виновато шмыгнул простуженным носом.

— Минька, а я время увидел! Сейчас вот, — объявил Дюшка.

Минька перестал мигать — глаза яркие, синие, а ресницы совсем белые, как у поросенка, нос, словно только что вымытая морковка, блестит. И в тонких бледных губах

дрожание, должно быть, от страха перед Дюшкой. Дюшке же не до старых счетов.

— Видел! Время! Не веришь? — Он победно развернул плечи.

— Чего, Дюшка?

— Время, говорю! Его никто не видит. Это как ветер. Сам ветер увидеть нельзя, а если он ветки шевелит или листья, то видно...

— Время ветки шевелит?

— Дурак. Время сейчас улицу шевелило. Все! То нет, то вдруг есть... Или вот береза, например... И грачи были да улетели... И еще пень этот. Погляди, как его время...

Минька глядел на Дюшку, помахивал поросячьими ресницами, губы его начали кривиться.

— Дюшка, ты чего? — спросил он шепотом.

— «Чего, чего!» Ты пойми — пень-то деревом раньше был, а еще раньше кустиком, а еще — росточком маленьким, семечком... Разве не время сделало пень этот?

— Дюшка, а вчера ты на Саньку вдруг... с кирпичом. — Минька расстроено зашмыгал носом.

— Ну так что?

— А сейчас вот — в пне время какое-то... Ой, Дюшка!..

— Что — ой? Что — ой? Чего ты на меня так тарачишься?

Глаза у Миньки раскисли, словно у Маратки, ничейной собаки, которая живет по всей улице Жан-Поля Марата; есть в кармане сахар или нет, та все равно смотрит на тебя со слезой, не поймешь, себя ли жалеет или тебя.

— Ты не заболел, Дюша?

И Дюшка ничего не ответил. Сам вчера за собой заметил — что-то неладно! Вчера — сам, сегодня — Минька, завтра все будут знать.

Улица как улица, береза как береза, и старый пень всего-навсего старый пень. Только что радовался, дух захватывало... Хорошо, что Минька ничего не знает о Римке.

И ради собственного спасения напал на Миньку сердитым голосом:

— Если я против Саньки, так уж и заболел. Может, вы все вместе с Санькой с ума походили — на лягуш ни с того ни с сего!.. Что вам лягушки сделали?

— Санька-то тебе не простит. Ты его знаешь — покалечит, что ему.

— Плевал, не боюсь!

— Разве можно Саньки не бояться? Сам знаешь, он и ножом... Что ему.

Минька поеживался, помаргивал, переминался, явно страдал за Дюшку. И глаза у друга Миньки как у ничейного Маратки.

Дюшка задумался.

— Кирпич нужен. Чтобы чистый,— сказал он решительно.

— Кирпич? Чистый?..

— Ну да, не могу же я грязный кирпич в портфель положить. Теперь я всегда с портфелем буду ходить по улице. Санька наскочит, я портфель открою и... кирпич. Испугался он тогда кирпича, опять испугается.

Минька перестал виновато моргать, уважительно уставился на Дюшку: ресницы белые, нос — морковка-недоросток.

— Возле нашего дома целый штабель,— сказал он.— Хорошие кирпичи, чистые, толем укрыты.

— Пошли! — решительно заявил Дюшка.

Они выбрали из-под толя сухой кирпич. Дюшка очистил его рукавом пальто от красной пыли, придирчиво осмотрел со всех сторон — что надо,— опустил в портфель. Кирпич лег рядом с задачиком по алгебре, с хрестоматией по литературе. Портфель раздулся и стал тяжелым, зато на душе сразу полегчало — пусть теперь сунется Санька. Оказывается, как просто: для того чтобы жить без страха, нужен всего-навсего хороший кирпич. Мир снова стал доброжелательным. Минька с уважением поглядывал на Дюшкин портфель.

Они отправились в школу. Поджидать Римку вместе с Минькой глупо. Да и какая нужда? И все-таки хотелось ее видеть. Хотелось, хотя умом понимал — нужды нет!

Санька не встретился им по дороге.

6

Он успел ее увидеть перед самым звонком в толчее и сутолоке школьного коридора. И сейчас, на уроке, он тихо переживал это свое маленькое счастье.

— Тягунов! Федор! Ты уснул?

Женька Ключев, сосед по парте, ткнул Дюшку в бок:

— Вызывают. К доске.



Учителя математики звали Василий Васильевич, и фамилия у него тоже Васильев, а потому и прозвище — Вася-в-кубе. Он был уже стар, каждый год грозитя уйти на пенсию, но не уходит. Высок, тощ, броваст, с прокаленной, как бок печного горшка, лысиной, с висячим крупным носом и басист. Его бас, грозные брови, высокий рост пугали новичков, которые приходили из начальных школ. Ребята чуть постарше хорошо знали — Вася-в-кубе страшен только с виду.

Он всегда о ком-нибудь хлопотал: то путевку в южный пионерлагерь больному ученику, то пенсию родителю. Почти всегда у него дома на хлебах жил парнишка из деревни, в котором Вася-в-кубе видел большой талант, занимался его развитием.

Он верил, что талантливы все люди, только сами того не знают, а потому таланты остаются нераскрытыми. И он, Вася-в-кубе, усердствовал, раскрывал.

Рассказывают, что, когда Левка Гайзер, тогда еще ученик пятого класса, начал решать очень трудные задачи, Вася-в-кубе плакал от радости, по-настоящему, слезами, при всех, не стесняясь.

Он видел нераскрытый талант и в Дюшке, чем сильно

отравлял Дюшкину жизнь. Математика Дюшке не давалась, а Вася-в-кубе не уставал этому огорчаться.

Сейчас Дюшка стоял у доски, а Василий Васильевич мерил длинными ногами класс в ширину, от двери кокну и обратно.

— Это что же, Тягунов, такое? — расстроенным громыхающим басом. — Что за распущенность, спрашиваю? Куда же ты катишься, Тягунов? Идет последняя четверть. Последняя! У тебя две двойки, сейчас поставлю третью! А в итоге?.. — Густые брови Васи-в-кубе выползли почти на лысину. — В итоге ты второгодник, Тягунов!

Дюшка и сам понимал, что вчера эту проклятую задачу о путешественниках, пешком отправившихся навстречу друг другу, кровь из носу, а должен бы решить. Ну, на худой конец, списать у кого. Не получилось. Дюшка убито молчал.

— Что ж... — Сморщившись, словно сильно заболела поясница, Василий Васильевич склонился над журналом: двойка!

Дюшка двинулся к своей парте.

— Куда? — грозно спросил Вася-в-кубе и указал широкой мослаковатой рукой на пластмассовую продолговатую коробочку на своем столе: — Почиститься!

— Я же не трогал мела.

— Почиститься!

Васю-в-кубе никак нельзя было назвать большим аккуратистом — носил брюки с пузырями на коленях, мятый пиджачок, жеваный галстук, — но почему-то он не выносил следов мела на одежде у себя и у других. Вместе с классным журналом он приносил на уроки платяную щетку в коробочке. Каждому, кто постоял у доски, вручалась эта коробочка и предлагалось удалиться на минуту из класса, счистить с себя следы мела. Тем, кто ответил хорошо, ласковым голосом: «Приведи себя в порядок, голубчик»; кто отвечал плохо — резко, коротко: «Почиститься!» И уж лучше не спорить, Вася-в-кубе тут выходил из себя.

Дюшка с коробочкой в руках вышел из класса. В пустом коридоре, заполненном потусторонними голосами, привалясь плечом к стене, стоял Санька Ераха, лицо хмурое, соломенные волосы падают на сонные глаза — за что-то, видать, выставили с урока.

Санька и Дюшка — один на один, лицом к лицу в пустом коридоре. Портфель с кирпичом в классе...

Но Санька не пошевелился, не оторвал плеча от стены, он только глядел на Дюшку из-под перепутанных волос сонно и холодно. И Дюшке стало стыдно, что он испугался. Во время уроков в коридоре Санька не ползет.

Дюшка не спеша раскрыл коробочку, вытащил щетку, принялся чистить свои брюки, старательно, не пропуская ни одной соринки, словно чистка старых штапов — наслаждение.

Он чистил и ждал — Санька заговорит. Тогда Дюшка ему ответит, не спустит. Он чистил, а Санька молчал, смотрел. Дюшка прошелся по одной штанине, принялся за другую — Санька молчал и смотрел в упор. И тогда Дюшка понял, что Санька молчит неспроста — уж очень сильно его ненавидит, иначе бы не выдержал, ругнулся. Молчит и глядит совиными глазами, молчит и глядит...

Дюшка принялся чиститься по второму разу — вдруг да Санька не выдержит, ругнется хотя бы шепотом. Но молчание. И пришла в голову простая мысль: а почему все-таки Санька его ненавидит? Он хорошо знает, что Дюшка не стапет его подстергать, ему, Саньке, нечего бояться Дюшки, жизнь не портит, настроенье не отравляет, как это делает сам Санька, а все-таки ненавидит. Только за то, что он, Дюшка, не захотел бросить лягушку, не подчинился? Даже защитить Миньку ему не удалось. Мало ли чего кому не хочется. Вот он, Дюшка, например, не захотел решить задачу о путешественниках, Васе-в-кубе это неприятно, Вася-в-кубе огорчен, но представить — возненавидел за это... Нет, слишком!

И тут спохватился: а ведь и он Саньку ненавидит не только за то, что тот отравляет жизнь, заставляет носить с собой кирпич. Ненавидит, что Саньке нравится мучить кошек, убивать лягуш. Казалось бы, тебе-то какое дело — пусть, коли нравится. Нет, ненавидит Санькины привычки, Санькины выкаченные глаза, Санькин нос, Санькино плоское лицо, ненавидит просто за то, что он такой есть.

Санька глядел остановившимся взглядом, и Дюшка попробовал представить себе, каким видит сейчас его Санька. Но не успел, так как кончилась последняя штанина, начать чиститься по третьему разу просто смешно, черт те что может подумать Санька.

Дюшка вложил щетку в коробочку, взглянул напоследок на Саньку, и взгляды их встретились... Стоячие, холодные, мутно-зеленые глаза. Да, не ошибся. Да, Санька неспроста молчит. Кирпич все-таки ненадежная защита.

Так в молчании и расстались. Дюшка вернулся в класс.

На перемене ему уже некогда было выглядывать Римку, он искал Левку Гайзера. Кирпич — ненадежно, один только Левка мог помочь.

Он отыскал Левку возле кабинета физики, отозвал в сторону. У Левки серые спокойные глаза и ресницы, как у девчонки, загибались вверх. У него уже начали пробиваться усы, пока чуть-чуть, легким дымком над полными красными губами. Красивый парень Левка.

— Научи меня джиу-джитсу, Левка, или каратэ. Очень нужно, не просил бы.

— А может, мне лучше научить тебя танцевать, как Майя Плисецкая?

— Левка, нужно! Очень! Ты знаешь приемы, все говорят.

— Послушай, таракан: незнаком я с этой чепухой. Вы там черт те какие басни про меня распускаете.

Зазвонел звонок, Левка ударил Дюшку по плечу:

— Так-то, насекомое! Не могу помочь.

И ушел пружинящей спортивной походочкой.

Одна надежда на кирпич.

7

— Минька! Вон травка выползла, зелененькая, умытая. Почему она такая умытая, Минька? Она же из грязной земли выползла. Из земли, Минька! Из мокроты! На солнце! Ей тепло, ей вкусно... Она же солнечные лучи пьет. Растения солнцем питаются. Лучи им как молоко... Ты оглянись, Минька, ты только оглянись! Все на земле шевелится, даже мертвое... Вон этот камень, Минька, он старик. Он давно, давно скалой был. Скала-то развалилась на камни, Минька... А потом льды тут были, вечные, они ползали и камни за собой таскали. Этот камень издали к нам притащен. Он самый старей в поселке, всех людей старше, всех деревьев. У него, Минька, долгая жизнь была,



но скучная. Ух какая скучная! Ему же все равно — что зима, что лето, мороз или тепло...

Свершилось! Впереди шла Римка Братенева — вязаная шапочка, кусочек обнаженной шеи под ней. И тесное, выгоревшее коричневое пальто, и длинные ноги — походочка с ленцой, разомлевшая. В самой Римкиной походке, обычно летящей, чувствуется слишком щедрое солнце, заставляющее сверкать и зеленеть землю, вызывающее ленивую истому в теле. Дюшке не до истомы. Шла впереди Римка в стайке, среди других девчонок, и счастье не умещалось в теле. Дюшка легко нес тяжелый портфель — спасительно тяжелый — он не боялся встречи с Санькой, а потому ничто сейчас не омрачало его счастья. Дюшка говорил, говорил, слова сами лились из него, славя траву и влажную землю, лучи солнца и угрюмый валун при дороге. И как хорошо, что было кому слушать — Минька Богатов поспевал мелким козлиным скоком со своим истрепанным ранцем за спиной.

— Минь-ка-а! — Дюшку захлестывала нежность к товарищу. — Это хорошо, что мы родились! Взяли да вдруг родились... И растем и все видим! Хорошо жить, Мицька!..

А я ненавижу, Минька... Я Саньку Ераху ненавижу! Живет себе лягушка, ему надо ее убить. Живем мы, ему надо, чтобы мы боялись его. А я не боюсь! Буду ходить, куда хочу, глядеть, что хочу. Я только портфель с собой стану носить, пока себе мускулы не накачаю и приемы не выучу. А тогда на что мне портфель с кирпичом, тогда я и без кирпича... И тебя я не дам, Минька, в обиду. Ты держись за меня, Минька!

Шла впереди Римка Братенева, девчонка в вязаной шапочке, от нее накалялся белый свет, от нее горел Дюшка. Он говорил, говорил, словно пел, и не мог с собой справиться. Песнь траве, песнь солнцу, песнь весне и жизни, песнь благородной ненависти к тем, кто мешает жить.

— Вон кран стоит, он мне вроде брата, Минька! Потому что поставлен отцом. Я отца, Минька, люблю, он, увидишь, еще такое завернет здесь, в поселке, — ахнут все! И мать у меня, Минька, хорошая. Очень, очепь, очень хорошая! Она людям умирать не дает. Сама, Минька, устает, ночей не спит, чтобы другие жили. Это же хорошо, скажи, что нет? Хорошо уставать, чтоб другие жили. Правда, Минька?.. Минька, что с тобой... Минь-ка!

Дюшка только сейчас заметил, что по щекам Миньки текут слезы. Идет, спотыкается и плачет, и лицо у него какое-то серое, с выступающими сквозь кожу голодными косточками.

— Минька, ты что?..

И Минька сорвался, сгибаясь под ранцем, дергающимся скоком побежал прочь от счастливого Дюшки.

— Ми-и-нь-ка!

Минька не обернулся. Дюшка остановился в растерянности.

Земля вокруг была ослепительно рыжей. Удалялась вместе с девчонками Римка Братенева — вязаная шапочка в компании цветных платочков, беретов, других вязаных шапочек.

И стало стыдно, что был так неумеренно счастлив. И недоумение: чем же он все-таки мог обидеть Миньку?

Солнце обливало рыжую, по-весеннему еще обнаженную землю. Дюшка стоял среди горячего, светлого, праздничного мира, не подозревая, что мир играет с ним в первертыши.

С отравленным пастроением он взялся за ручку двери и вдруг услышал за дверью перекатывающийся бас. Дома его ждал гость столь неприятный, что хоть поворачивай и беги обратно на улицу. Минуту-другую Дюшка мялся, портфель, из которого он внизу вынул кирпич, снова показался тяжелым. Может, и в самом деле погулять, пока незванный гость не уйдет?..

Гость-то уйдет, а беда останется, что уж труса праздновать. И Дюшка открыл дверь, обреченно шагнул через порог навстречу гремевшему басу.

Посреди комнаты лысиной под потолок стоял Вася-в-кубе, размахивал длинной рукой и ораторствовал. Отец и мать, пришедшие с работы на обед, озабоченная старая Климовна сидели вокруг застланного скатертью стола и почтительно слушали. Вася-в-кубе считался одним из самых умных людей в поселке.

Мать не оглянулась в сторону сына, отец лишь стрельнул сердитым глазом. Климовна вздохнула и опустила седую, гладко причесанную голову, а Вася-в-кубе покосился, но речи своей не прервал.

— Нет от природы дурных людей, есть дурные воспитатели! Да! — гремел Василий Васильевич, и оконные стекла отзывались на его голос. — Мы, учителя, не справляемся с воспитанием, даем брак... Согласен! Подписываюсь! Но!.. Но ведь в школе ученик проводит всего каких-нибудь шесть часов в сутки, остальные восемнадцать часов — дома! Законно спросить: чье влияние сильнее на ребенка? Нас, учителей, или вас, родителей?..

— Вы хотите сказать, Василий Васильевич... — начал было отец Дюшки.

— Хочу сказать, Федор Андреевич, — голос Василия Васильевича стал тверд, лицо величественно, — что когда вы в ущерб семье с раннего утра до позднего вечера пропадаете на работе, то не считайте — мол, это так уж полезно для общества. Обществу, уважаемый Федор Андреевич, нужно, чтоб вы побольше отдавали времени своему сыну, заражали его тем, чем сами богаты. Да! Вы трудолюбивы, вы работоспособны, а сын, увы, этого от вас не перенял. Не перенял он и вашу кипучую энергию и ваше чувство ответственности перед делом. Не обижайтесь за мою прямоту.

— Да что уж обижаться — вы правы, сына вижу только вечером, когда с ног валюсь, — отмахнулся огорченно отец. — И мать тоже по горло занята. На Клавдии Климовне он...

Климовна ответила вздохом, мать промолчала.

— Поймите меня, — снова зарокотал Василий Васильевич, — я вовсе не хочу, чтобы каждый... каждый родитель влиял на своего ребенка. Есть родители, от влияния которых я бы с удовольствием оградил детей. Возьмите всем известного Богатова... Кто он, этот Никита Богатов? Хронический неудачник! И это передается на его мальчишка — забит, робок, несчастен! Можно только сожалеть о влиянии Богатова на своего сына.

До сих пор все, что говорил Вася-в-кубе, было и нужно и неприятно Дюшке, сейчас насторожился: Богатов Никита — отец Миньки, несчастный мальчик — сам Минька. А Дюшка только что видел Минькины слезы...

Но Вася-в-кубе не стал углубляться в судьбу Миньки, его интересовала судьба Дюшки. Он повернулся к нему:

— Я хочу от тебя одного: чтоб ты потесней сошелся слевой Гайзером. Он-то уж поможет... По-тесней! Понимаешь?

Он, Дюшка, понимал Васю-в-кубе, да тот плохо понимал Дюшку. Какой интерес Левке водиться с Дюшкой, с тем, кто моложе почти на два года. Левка таких тараканами зовет. Будет звать тараканом и показывать, как решаются задачки про пешеходов... Уж лучше Дюшка сам как-нибудь. Но вслух этого он не сказал.

Зато Климовна съябедничала:

— У него Минька, сын Богатова, — первый товарищ. Охо-хо!

— Василий Васильевич, спасибо вам, — подала голос мать. — Что в наших силах, то сделаем. Как-никак он у нас один.

— Ну и прекрасно! Ну и превосходно!.. А я, со своей стороны, уверяю вас, тоже... Под прицелом будешь у меня, голубчик, под прицелом!

Вася-в-кубе заметно подобрел. Он и вообще-то не умел долго сердиться, а уж после того, как поговорит, поораторствует, громко, всласть отчитает, всегда становится мирным и ласковым. Все ребята это знали и молчали, когда он ругался.

Он ушел успокоенный и великодушный, родители проводили его до дверей.

Климовна, поджав губы, с выражением «пропаций ты человек» стала собирать на стол.

Отец вернулся в комнату, пнул стул, подвернувшийся на пути, навис над Дюшкой:

— Достукался! Краснеть за тебя приходится. Не-ет, я приму меры — забудешь улицу, Минек, Санек!.. Я найду способ усадить за рабочий стол!..

Мать опустила на стул и позвала:

— Подойди ко мне, Дюшка.

Отец сразу умолк, а Дюшка несмело подошел. Он больше боялся тихого голоса матери, чем крика отца.

Мать положила ему на плечо руку и стала молча вглядываться, долго-долго, в углах губ проступали опасные морщинки.

— Дюшка...— И замолчала, снова стала вглядываться Дюшке в лицо. Наконец заговорила: — У меня сейчас в больнице умирает человек, Дюшка. Я сейчас уйду к нему и вернусь поздно... И завтра я должна быть там, в больнице, и послезавтра... Человек при смерти, Дюшка, должна я его спасти или нет?

— Должна,— выдавил Дюшка, в тон матери, тихо.

— Я спасу этого, появится другой больной. И мне снова придется спасать... А может, мне лучше не спасать больных, запыться тобой? Ты здоров, тебе смерть не грозит, но ты так глуп и ленив, что нужно следить, хватать тебя за руку, силой вести к столу, чтобы учил уроки.

— Черт! — В полном расстройстве отец пнул ногой стул; было ясно, что с таким же удовольствием он ответил бы пинок Дюшке.

— Мам...— У Дюшки сжалось горло.— Мам... Я все... Я сам... Не надо обо мне... думать.

Мать сняла с плеча руку, отвела глаза, сказала устало, словно пожаловалась:

— У меня сейчас сложная операция. Будем оперировать Гринченко. Я очень волнуюсь, Дюшка.

— Мам! Не думай обо мне. Я сам... Вот увидишь.

— А я все-таки приму меры! Не-ет, я на самотек не пуцую! — Отец решительно направился к телефону, набрал номер: — Алло! Гайзер!.. Слушай, Алексей Яковлевич, просьба к тебе. И нет, не к тебе, а к твоему сыну. Пусть он займется моим балбесом, подтянет по математике... Как

мужчина мужчину прошу, так и передай — как мужчина мужчину... Ну, спасибо... Что — платформ нет? Выкатку приостановить?! Да ты что, Гайзер? В такую воду держать лес в запани! А если ночью прорвет запань?.. Нет, дружок, пет, не крути! Вышибай и платформы — кровь из носу!..

И отец забыл о Дюшке.

Климовна вздыхала над столом:

— Э-эх! Курица пестра сверху, человек изнутри.

После обеда Дюшка никуда не пошел, сел за стол, разложил перед собой учебники и задумался... Сначала о матери, которая, наверно, в эти самые минуты спасает от смерти какого-то незнакомого Гринчепко. Потом всплыл в памяти Минька. Почему он вдруг?.. Минька расплакался, должно быть, потому, что Дюшка стал хвастаться отцом. Минькиного отца, Никиту Богатова, не любили в поселке. Минькина мать бегала по соседям и жаловалась на мужа: не зарабатывает, не заботится о семье... И это верно, Минька ходит в школу в рваных ботинках.

Дюшка только издали видел Минькиного отца. Тот не выглядел уж таким злодеем — обычный человек, носит помятую шляпу, старое пальто с длинными лапами, в которых он путается ногами на ходу, и нельзя никогда понять, пьян он или от рождения таков. И лицо у Минькиного отца мятое, как его шляпа, бесцветное, только глаза синие, точь-в-точь как у Миньки. Еще у Минькиного отца странная привычка — всегда что-то бормочет на ходу. А однажды Дюшка его увидел в лесу — стоит один-одинешенек на поляне, помахивает рукой и громко декламирует:

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты...

Что-то непонятное. Стихи — деревьям! Станный. Он сам пишет стихи и раньше жил в городе, работал в газете, которая каждый день приходит в Куделино. Газету все читают, стихов Богатова никто не знает. И работает теперь Богатов простым делопроизводителем в конторе.

Жаль Миньку. Жаль, пожалуй, больше, чем себя.

Задача о путешественниках никак не решалась.

Левка Гайзер сам подошел к Дюшке:

— После уроков потолкуем, таракан.

И вот после уроков они вышагивают бок о бок. Поролоновая курточка, джинсы в обтяжечку, румяные щеки, серые глаза под девчоночьими ресницами, папка в руках и еще какая-то умная книга, не уместившаяся в папку. Дюшка рядом со своим потасканным портфелем. Портфель оттягивает руку, в нем кирпич против Саньки Ерахи.

Левка с ленцой шагает, нехотя говорит, словно такие, как Дюшка, насекомые ему, занятому, надоедают каждый день:

— Вася-в-кубе считает, что к математике нужно тянуть за уши. У меня на этот счет свое мнение...

У Дюшки своего мнения нет: отец заставляет и... дал слово матери.

— Я считаю, в математику нужно бросать человека, как в воду: выплывешь — значит, и дальше станешь плавать, не выплывешь — черт с тобой, топи, того стопшь.

Дюшка терпит свою пасекомость, ждет, как и когда умный Левка бросит его в математику, словно в воду.

— Вот...— Левка протянул Дюшке книгу.— Нырни в нее, постарайся с головой. Популярная, легко читается. Проплывешь до конца — буду с тобой разговаривать. Не проплывешь... Что ж, ходи по суше, как все ходят. Ничем тогда не смогу тебе помочь, таракан.

Дюшка взял книгу, попросил:

— Левка, не зови меня тараканом.

Левка впервые с интересом посмотрел на Дюшку, неожиданно согласился:

— Хорошо, не буду, если не нравится.

Нет, он все-таки человек невредный, другой бы, видя, что не нравится, стал настаивать: «Так ты и есть таракан, клопа перерос, до кошки не дорос!» От благодарности захотелось поделиться с Левкой.

— Левка, а может такое быть — я тут время увидел.

— Время? Увидел?!

— Понимаешь, утром вышел на улицу, и вдруг...Грачи улетели, машина прошла, почки на березе распустились. Все это видят, а никто не догадывается, что это время все меняет. Грачи были да нет, машина была да пропала, по-

чек не было — появились. Хочешь стой, хочешь ходи, хочешь спи себе, а время идет, все меняет.

— Гм...

Левка не рассмеялся, наоборот, озадаченно закосил глазом на сторону.

— Любопытно. Только ты не время, нет, ты движение видел. Почки на березе — тоже движение.

— Ну да, движение. Ветер двигается — и видно, как он ветки раскачивает. Так и время...

— Гм... Движение-то во времени... А ты не такой простой, таракан... Ох, извини, забыл.

— Ничего.— Дюшка теперь готов был великодушно простить Левке и «таракана».

Грязную улицу Жан-Поля Марата пересекала кошка, брезгливо ставя лапы на мокрую землю. И Дюшка с Левкой загляделись на нее. Кошка достигла противоположного тротуара.

— Двадцать пять секунд! — объявил Левка.

— Чего — двадцать пять? — не понял Дюшка.

— Двадцать пять секунд прошло, пока кошка через улицу переходила. Она на двадцать пять секунд стала старше, мы с тобой — старше на столько же, земля вся старше, вселенная...

Дюшка задумался, еще раз представив себе в мыслях кошку, брезгливо ступающую чистыми, вылизанными лапами по грязной земле, и неожиданно возразил:

— Нет, Левка, у кошки прошло не двадцать пять секунд.

— Я считал.

— Ты наши секунды считал, человечьи, не кошкины.

— Какая разница — наши, кошкины?

— Кошки живут на свете меньше людей. Пока она шла через улицу, у нее времени больше прошло.

— На земле одно время у всех.

— Как так одно? Мне вот тринадцать лет, а я еще молодой. Кошка в тринадцать лет старуха. Если годы для людей и для кошек разные, то и секунды разными быть должны.

Левка помолчал, хмурия брови, уходя взглядом в сторону, и рассмеялся:

— Черт знает что у тебя в голове вертится! Кошкино время! Эйнштейн со смеху бы лопнул.

— Кто?



— Альберт Эйнштейн, самый великий ученый двадцатого века, а может, всех веков. Он относительность времени открыл.

— Чего времени?..

— Ну, ты этого не поймешь сейчас. Ты прочитай книгу, потом поговорим.

— Хорошо.— Дюшка открыл портфель, стал втискивать в него книгу.

— А что он у тебя такой пузатый? Чем ты его набил?

— Да ерунда — кирпич тут.

— Кирпич?! Зачем?

Дюшка помялся — сказать ли Левке правду? И постеснялся.

— Мускулы развиваю.

— Чудной же ты... Мускулы. Кирпич в портфеле.

— Вот если б ты мне приемы джиу-джитсу показал...

Левка только махнул рукой:

— Чудной!

Они расстались.

10

То, что на свете существует любовь, Дюшка хорошо знал. По кино, по книгам. Д'Артаньян по ошибке влюбился в миледи. Гринев любил капитанскую дочку, Том Сойер тоже там какую-то девчонку в панталончиках... А Дюшкин отец когда-то, до Дюшкиного рождения, дарил матери белые нарциссы. А сколько раз любил Пушкин, и не только свою жену Наталью Гончарову. «Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна...» У Римки волосы у висков вьются, как у Натальи Гончаровой.

Наверное, он и сам должен когда-то влюбиться. Когда-то?.. А вдруг да уже! Вдруг да он в Римку Братеневу?..

Но в кино, в книгах те, кто любит, всегда встречаются, а при встречах всегда признаются друг другу: «Я вас люблю». И потом целуются... Дюшке же хочется видеть Римку, только видеть, лучше издали, а встречаться — нет, вовсе не обязательно. Чтоб встретиться, нужно же подойти совсем близко. Раньше подойти к Римке близко было нетрудно, теперь — нет, и стыдно и боязно. А сказать ни с того ни с сего: «Я вас люблю» — легче провалиться сквозь землю. А уж поцеловать... Думать не хочется.

Но что-то случилось, что-то страшное с самим Дюшкой. И Римка тут ни при чем, она знать ничего не знает, смешно на нее сваливать. Случилось! Даже Минька заметил: «Ты не болен, Дюшка?» Вдруг да и в самом деле, вдруг да опасно! Не влюбился, нет! Любовь не болезнь, людей не портит.

Господи! Как плохо быть не таким, как все. Как плохо и как страшно! Одна надежда, что проснешься в одно прекрасное утро и почувствуешь — все прошло: на Римку не хочется глядеть, улица снова кажется обычной улицей и к Саньке Ерахе пет выворачивающей душу ненависти, с Санькой можно даже пойти на мировую, выбросить ненужный кирпич.

Негаданное успокоение — встреча с Левкой Гайзером. Левка не рассмеялся, не спросил — болен ли ты? Левка самый умный из ребят... •

Дюшка со страхом открыл Левкину книгу, не слишком толстую, но научную. Наверное, сплошная математика, утонет в ней Дюшка, не доплывет до конца, отвернется тогда Левка.

Но никакой заковыристой математики не было. В самом начале задавался простой вопрос: «Как велик мир?» И дальше говорилось о... толщине волоса. Оказывается, это самое малое, что может увидеть человеческий глаз. Толщина волоса в десять тысяч раз меньше вытянутой человеческой руки. Вытянутая рука в десять тысяч раз короче расстояния до гор на горизонте. Расстояние до горизонта только в тысячу с небольшим меньше диаметра Земли. А диаметр Земли опять же в десять тысяч раз меньше расстояния до Солнца...

В черной пустоте висит плоская, как блин, сквозная туча искр. Каждая искорка — солнце, их не счесть. Среди них и наше — пылинка.

А в стороне другая такая же туча искр-пылинок — солнца, солнца, солнца! Уже чужие, дальние — Туманности Андромеды, нашей соседки!

А за Андромедой новые и новые туманности, нельзя их сосчитать. Звездные тучи, дым солнц-пылинок клочьями по всей великой пустоте. По всей, всюду, без конца!..

Хватит! Хватит!..

Страница за страницей мир безжалостно разбухал.



А Дюшка съезжился, стал все ничтожней — страница за страницей — до ничего, до пустоты! Вместе с поселком Куделино, вместе с родной Землей, со своим родным Солнцем... Хватит! Да хватит же! Вселенная не слушается, Вселенная величаво растет...

Ночью он не мог уснуть.

Спал дом, спал поселок, слышно было, как шумит вышедшая из берегов река. Странно, люди могут спать спокойно, не ужасаются неуютности огромного мира.

Спят... Предоставили одному Дюшке терзаться за ничтожество всего человечества, живущего на затерянной Земле. И Дюшка не выдержал, тихонько поднялся с постели. Как уснуть, когда великая Вселенная стоит за стеной. Он выскользнул из комнаты, у дверей ощупью нашел свое пальто, сунул босые ноги в сапоги...

Шумела река за домами, причмокивала под сапогами сырая земля, висели звезды над поселком. К ним-то и поднял лицо Дюшка,

взглянул в бездонную пропасть, редко заполненную лучающимися мирами.

И где-то, где-то в глубине этой распахнувшейся над ним пропасти стоит кто-то, какой-нибудь другой Дюшка, и, задрвав голову, тоже смотрит, наверняка мучается — неведомый брат, затерявшийся в бесконечном мире.

— Брат, тебе страшно, что мир так велик?

— Страшно.

— Лучше бы не знать этого?

— Лучше, покойней.

— Не знает ничего, таракан. Хочешь быть тараканом?

— Нет.

— И я не хочу.

— Значит, хочешь все-таки знать?

— Все-таки хочу.

— А страх, а покой?

— Пусть.

— Ты дочитал свою книгу?

— Нет, не до конца.

— Я тоже.

Пропасть над головой, пропасть без дна, заполненная лучающимися мирами. Там где-то братья... Встретятся ли их взгляды? Услышат ли они друг друга? Объединятся ли они воедино прстив пугающей Вселенной?

Шумела река, спал покрытый звездным небом поселок Куделино. Стояли друг против друга — мерзнувший от ночной прохлады маленький страдающий человек и равнодушное мироздание. Лицом к лицу — зреющий хрупкий разум и неисчерпаемая загадка бытия.

11

Утром, как всегда, он вышел из дому, чтоб по знакомой улице Жан-Поля Марата шагать в школу. Береза, старый пень, продавленная дорога, бабка Знобишина, тянущая па веревке упирающуюся козу. Ничего не изменилось в знакомом мире, а все-таки он стал иным, снова перевернулся.

Береза, пень, старуха с козой...

Все кажется мелким, не стоящим внимания. Даже не хочется видеть Римку. Что—Римка? Тоже человек. Осуждающими глазами смотрит Дюшка на примелькавшуюся улицу и... ощущает к себе небывалое уважение. Никто не

знает, как велик мир, как мелки люди, он знает, он не такой, как все.

Кирпич Дюшка все-таки достал из-под лестницы, сунул в портфель — на всякий случай. Какое дело Саньке Ерахе, что за эту ночь он, Дюшка, поумпел, открыл Вселенную, — возьмет да и поколотит. Нет, лучше уж прихватить кирпич... на всякий случай.

— Здравствуй, Дюшка.

Как всегда, стеснительно, бочком, руки в карманах пальто, старый ранец за плечами — Минька. Дюшка не пошевелился, не соизволил взглянуть, не ответил, храня на лице мировую скорбь, молчал с минуту, а может, больше, наконец изрек:

— Скажи: для чего люди живут на свете?

Минька виновато посопел носом, помялся, не обронил ни звука.

— Не знаешь?

— Не, — сознался Минька.

— А я знаю.

Минька ничуть не удивился, скучненько, без интереса, вежливости ради выдал из себя:

— Для чего?

— Ни для чего! — торжественно объявил Дюшка. — Просто так живут.

И опять никакого впечатления, Минька безучастно поморгал бесцветными пороссячьими ресницами.

— Родились сами по себе какие-то клопы — и я, и ты, и все на свете. Вот и живем. А подумаешь, так и жить не хочется.

Минька судорожно вздохнул, опустил лицо и тихо, глухо, как из подвала, вдруг признался:

— И мне, Дюшка, тоже.

— Чего — тоже? — насторожился Дюшка.

— Также жить не хочется.

Одно дело, когда так говорит он, Дюшка, вчера прочитавший умную книгу, получивший право глядеть свысока на весь род людской, другое — Минька, таких книг не читавший, ничего не знающий, значит, и не имеющий никаких прав страдать, как страдает сейчас Дюшка.

— Это почему же тебе-то?..

— Да отец с матерью все... Жизни нет, Дюшка.

Минька поднял глаза, влажные, но не собачьи, а загнаные, как у раненой птицы. Птичье, беспомощное и в

бледном до голубизны лице, в торчащем носе. И Дюшка вспомнил, что он до сих пор и не знает толком, почему тогда расплакался Минька. Даже забыл об этом... «Для чего живут люди на свете?»

— Мамка каждый день плачет. Отец ей жизнь загубил, Дюшка.

— Как — загубил?

— Да женился на ней.

— Женился и не любит, что ли?

— Любит, очень любит. То и беда, Дюшка, так любит, что без матери умрет.

— Это же хорошо, Минька.

— Плохо, Дюшка. Отец от этой любви вроде заболел, делать ничего не хочет. У меня вон ботинки рваные, у матери платья нового нет, а он... любит, видишь ли.

— Недобрый он, что ли?

— Добрый, Дюшка. Только это все равно плохо. От его доброты все и получается не как у людей. Я ненавижу его, Дюшка!.. — Слезы в синих глазах и срывающийся, захлебывающийся голос: — Думаешь, за доброту ненавидеть нельзя? Можно!.. Он добрый, а плохой. Все из-за него над нами смеются, над матерью тоже. Мать каждый день плачет, Дюшка. Отец ей жизнь загубил. Она и сейчас еще красивая, а он?.. Погляди, как мы живем, мамка себе платья купить не может. Если б еще был отец, как другие, так не обидно.

И тут стукнула дверь на выходе: топ, топ, топ — по ступенькам крыльца. И по улице словно дунул свежий ветерок — мимо пробежала Римка Братенева, крикнула на ходу:

— Чирикаете, чижики! В школу опоздаете!

Она сняла сегодня тесное зимнее пальтишко, в коротенькой курточке — освобожденная, летящая. Топ, топ, топ! — по дощатому тротуару прозрачные звуки. Топ, топ — по всей улице, словно музыка. Освобожденная и чуточку нескладная. Уносит сейчас летящим наметом свою хватающую за душу нескладность.

«Чижики!» — подумаешь, задавака.

От Минькиных слов съезжилась, погасла разгоревшаяся вчера Вселенная. Плевать на то, что Солнце — пылинка, что Земля невразумительна, плевать, что ты сам ничто, плевать на вопрос — для чего живут люди на свете? Не плевать на Миньку, на его слезы. Хочется любить и жа-

леть все на свете — эту рыжую весеннюю улицу, большой кран над крышами, затоптанные доски тротуара, которых только что коснулись быстрые Римкины ноги.

Любовь и жалость выплеснулись на Миньку.

— Минька! Не смей реветь! Ты смотри — хорошо как кругом!.. У тебя же друг есть, Минька! Я! Я твой друг! Я тебе помогу чем хочешь! Честное слово, не вру! Ты лучше всех ребят... Брось реветь! Брось, говорю, не то стукну!..

Но Минька уже не ревел, слезы еще блестели на его глазах, но он уже застенчиво улыбался.

12

Так много навалилось, что на все стало не хватать Дюшки,— жизнь узка и тесна, не развернешься.

Кончились уроки, все заспешили по домам. Домой отправилась и Римка. Дюшке хотелось кинуться за ней следом. Идти бок о бок с верным Минькой, смотреть в узкую спину, чувствовать незримую натянутую струну — от нее к нему — и изумляться взмахом лезущей во все щели траве, каменному упрямству валуна при дороге, нагретости крыш, синеве дня, собственному существованию на этом свете.

Но он не успел переговорить с Левкой. Разговор настолько серьезен, что его нельзя было втиснуть между уроками в какую-нибудь перемену.

Уроки кончились, звала за собой Римка. И звал... Нет, не Левка. Звало только что открытое мироздание. Что делать, когда один только Левка знаком с ним. Мироздание перевесило Римку.

— Левка, ты почему мне такую книгу дал? Она же не о математике, совсем о другом.

Они устроились в пустом спортзале на сложенных в углу матах. Левка только что сошел с турника — вертел «солнце», делал «склепку», «перекидку» и даже стойку на руках вниз головой: мастер, залюбуешься. Дюшка решил — надо тоже начать заниматься на турнике, накачивать себе мускулы. Левка накинул поверх майки на голые плечи куртку, опустился рядом.

— Ты что, уже прочитал? — спросил он недоверчиво.

— Пока не всю, все не успел... Страшно, Левка.

— Страшно? Почему?

— Да мир-то вон какой! А я? А ты? А все мы, люди?.. Я, Левка, твою книгу читал и нет-нет да себя щупал: есть ли я на свете или только кажется?

— Ну и что, нащупал?

— Есть, но уж очень, очень маленький. Все равно что и нет.

— А голову свою ты щупал?

— Ты, Левка, не смейся. Я серьезно.

— И я серьезно: пощупай голову, прошу.

Нет, Левка не улыбался, косил строго серым глазом на Дюшку.

— Голова как голова, Левка. Ты чего?

— А того, что она по сравнению со звездами и галактиками мала. Не так ли?

— Сравнил тоже.

— А в нее вся Вселенная поместилась — миллиарды звезд, миллиарды галактик. В маленькую голову. Как же это?

Дюшка молчал.

— Выходит, что эта штука, которую ты на плечах носишь, таракан, — уж извини! — самое великое, что есть во Вселенной.

— Я... Я не подумал об этом, Левка.

— То-то и оно. Не размеры уважай.

Дюшке и в самом деле захотелось вдруг до зуда в руках пощупать свою великую голову, начиненную сейчас Вселенной. Действительно! Но стеснялся Левки, подавленно стоял, не смея радоваться.

А Левка победно продолжал:

— Ты спросил: почему я такую книгу тебе подсунил — не о математике? Когда яму вырытую видят, никто о лопате не вспоминает. Без лопаты, голыми пальчиками, большую яму не выкопаешь. Вот и ученые раскопали Вселенную с помощью математики.

— А я-то думал, они, ученые, в телескопы все это увидели, — несмело произнес Дюшка.

— Разве можно увидеть все даже в телескопы?

— В телескопы пельзя?..

— Ты видишь ночью звезды?

— Вижу, конечно, — ответил Дюшка.

— А расстояние от Земли до этих звезд ты видишь?

— Как — расстояние?

— А так, расстояние — сколько километров или свето-

вых лет?.. Увидеть это нельзя, падо вычислить. А можно ли увидеть в телескоп, что случится на небе через год, через десять лет, через сто?

— Ну уж?

— Нельзя увидеть, а вычислить можно.

— Ну-у...

— Солнечные или лунные затмения, например... Спроси — ответят на сто лет вперед: в такой-то день, такой-то час, в такую-то минуту начнется, тогда-то кончится, с такого-то места лучше всего будет видно. Колдуны и гадалки, сравнить с математиками, сопляки. Последний дурак тот, кто математику не уважает.

— Я ее уважаю, Левка, только...

— Только математика меня не уважает?

— Меспособен я, Левка. Какую задачку ни возьму — трудно, сил нет.

— Потому что неинтересно.

— А разве задачки бывают интересными?

— Вот те раз! — Левка рассмеялся. — Да каждая, кроме уж очень простых.

— Очень простые... неинтересны?

— Само собой.

— А я думал: само собой, не интересны трудные.

— А ты представь себе: задачка — это тайна. Чем труднее тайна, тем сильнее хочется ее разгадать.

— Путешественники друг дружке навстречу идут. Из пункта А да из пункта Б — какая тут тайна, да еще интересная?

— А если из пункта А комета летит, а из пункта Б двигается наша Земля. Интересно или неинтересно знать, встретятся ли эти путешественники, Земля и комета, в какой точке, когда? Если встретятся, то это же катастрофа.

— А может такое быть, Левка?

— Было уже.

— Да ну! Катастрофа?..

— О Тунгусском метеорите слышал? Это комета, правда небольшая, по Земле шарахнула. Хорошо, что в дикие леса шлепнулась.

— Вдруг да большая прилетит?..

— Тогда встретим ее ракетой с бомбами, чтоб в куски! Вот тебе снова задачка с двумя путешественниками — ракетой и кометой...

Дюшка помолчал и вздохнул:

— Счастливый ты, Левка. Все узнавать наперед станешь.

И Левке, по всему видать, понравилась зависть, прозвучавшая в Дюшкином голосе, он порозовел от удовольствия.

— Все не все, а кое-что,— ответил он скромно.

— Левка, а можно через математику узнать, сколько я лет проживу, когда умру?

— Зачем тебе это?

— Интересно. Очень даже. Тайна же!

Левка закосил глазом в сторону.

— Я тут поважней нащупал... тайну...— сказал он. И замолчал, и еще сильнее закосил глазом.

— Важней ничего нет, Левка.

— Я не хочу знать, когда я умру. Я хочу знать, рожусь ли я снова после смерти.

Последние слова Левка произнес глухим, замогильным голосом. В большом, пустынном, сумрачном спортзале на минуту наступила особенная тишина, укрывающая что-то грозное, чего нельзя касаться людям.

Стараясь не спугнуть эту тишину, Дюшка выдавил из себя шепотом:

— Лев-ка-а, разве такое может?..

— Может не может — надо узнать.

— После смерти чтоб?..

— После смерти.

— Вроде привидения? Да?

— Привидение — сказки!

— А как тогда?

— По-настоящему, как сейчас.

— Левка-а, ты не болен?

— Ничуть.

Сердитый и вовсе не смущенный ответ восхитил Дюшку в душе.

— Вот это-о да-а!.. Умереть и снова!.. Только ведь в могилу закопают, Левка.

— Пусть.

— А может, ты все-таки болен?

— Слушай, таракан... Хотя вряд ли ты поймешь.

— Я постараюсь, Левка. Я изо всех сил постараюсь!

— Надо для этого открыть одну проблему...

— Чего?

— Проблему. Научную. Великую. Над которой сейчас бьются все ученые мира. Я жизнь положу, а открою.

— Какая она, Левка?

— Да с виду простая: бесконечна наша Вселенная или конечна?

— А-а, — протянул Дюшка разочарованно. — Зачем это?

— Это ключ к тайне, будем ли мы после смерти жить или нет.

— Бесконечна... Вселенная... Ключ?

— Скажи: из чего я состою?

— Из костей, из мяса, как все.

— Из атомов я состою. Из самых обычных атомов, сложенных особым порядком.

— Ну и что?

Левка так интересно начал, но сейчас что-то путал: бесконечность, Вселенная, атомы, черт знает что!

— Атомов во мне очень-очень много, но все-таки число их конечно. Понимаешь?

— Нет, Левка.

— Я конечный, а Вселенная-то бесконечна. Учти, Дюшка, дважды бесконечна — во времени и в пространстве.

— Тебе-то от этого какая выгода?

— Большая, Дюшка. Раз наша Вселенная нигде не кончается и никогда не кончается, то где-нибудь, когда-нибудь, рано ли, поздно, но наверняка... Понимаешь, наверняка! Случится невероятное — атомы случайно сложатся так, как они лежат во мне.

Левка замолчал, торжествующе, изумленно, взволнованно взирая на Дюшку. А Дюшка подавленно задал все тот же, уже надоевший, вопрос:

— И что?..

— Как — что?! — воскликнул Левка с дрожью в голосе. — Ведь это я! Это буду снова я! Я появлюсь во Вселенной где-то, когда-то, уже после смерти! Выходит, я бессмертен! Понял?

— Нет, Левка.

И Левка сразу увял:

— Туп же ты, таракан.

— Ну, а я — после смерти?

— И ты тоже. — Ответ без энтузиазма.

— А другие?..

— И другие. Все. Я не исключение.

Дюшка помолчал, соображая, наконец возразил:

— Нет, тут что-то не так. Ну, хорошо — ты один. Ну, я еще — согласен. А то все... Нет, что-то не то.

— Ладно, таракан, замнем этот разговор для ясности.— Левка поднялся, скинул куртку, стал натягивать через голову рубаху.

Дюшка взялся за свой портфель с кирпичом. Пора было идти домой.

Дома после обеда он раскрыл задачник: «Два путешественника...» Тайна, даже две маленькие — сколько прошел первый и сколько второй путешественник. Тайны так себе, самые заваливающие, но для тренировки сгодятся. Дюшка навис над задачиком и стал думать.

13

Путешественники не имели ни лиц, ни имен, ни характеров, они отличались друг от друга только тем, что один из них полчаса раньше отправился в путь. Полчаса — тридцать минут... Мгнуты помогли открыть тайну пройденных километров. В другой задачке угол в градусах помог узнать высоту заводской трубы. В третьей — длина и ширина бака водонапорной башни подсказала, сколько пионеров отдыхало в пионерском лагере.

На улице Жан-Поля Марата зажигались окна. Большой кран купался в зеленом закате. Старуха Знобишина снова протащила на веревке козу, на этот раз в другую сторону — к дому. Дюшка вышел погулять.

Он решил подряд несколько задач, и голова с непривычки отяжелела, казалось, даже немного распухла, но на душе — покойно. Дюшка был так доволен собой, что даже походка у него стала медленной и задумчивой.

Странная вещь математика. Она связывает между собой, казалось бы, самые несвязуемые вещи — градусы с заводской трубой, бак водокачки с отдыхающими пионерами! Или бесконечность Вселенной — кому, казалось бы, до нее какое дело! — нет, она обещает Левке Гайзеру новую жизнь... после смерти. Ничего себе!

За домами в тишине кричали лягушки, не столь шумно, как прежде, не столь звонко, но по-прежнему картаво, с усердием. Вспомнилась лягушка, распятая на Санькиной веревочке, с ржаво-золотым глазом, дышащим желтым



брюхом. Она, незваная, влезла в чинные и умные Дюшкины мысли о математике. Эта лягушка заставила Дюшку носить в портфеле кирпич. Лягушка и кирпич — тоже странная связь. И математика здесь ни при чем. Оказывается, не только в задачнике, но и в самой жизни есть эти странные до нелепости связи.

Лягушка и кирпич, бесконечная Вселенная и вторая жизнь как подарок... А старинная красавица, давным-давно умершая Наталья Гончарова, вдруг неожиданно нарушила спокойствие Дюшкиной жизни. Больше того, если бы эта Наталья Гончарова сто с лишним лет назад носила другую прическу — не с завитками у висков, — с Дюшкой ничего особенного не случилось бы: не обращал бы теперь на Римку Братепеву внимания, не связался бы с Санькой из-за лягушки, не схватил бы очередную двойку у Васивкубе, не сошелся бы близко с Левкой Гайзером, не получил бы от него книгу о галактиках, не заметил бы странности задачника, не открыл бы для себя удивительных связей в мире. Подумать только, все оттого, что Наталья Гончарова, жена Пушкина, послала модную для тех лет прическу с локончиками.

А вдруг да... Дюшка задохнулся от догадки. Вдруг да

Наталья Гончарова и Римка Братенева!.. И очень даже просто, Левка Гайзер все объяснил: атомы случайно сложились в Римке точно так, как прежде лежали в жене Пушкина. Родилась девчонка, никому и в голову не пришло, что она уже однажды рождалась. По ошибке ее назвали Римкой. И сама Римка ничего не знает, только Дюшка печально открыл сейчас ее секрет...

Левка Гайзер неизвестно еще появится ли, а Наталья Гончарова появилась... И где? В поселке Куделино! С Дюшкой рядом!

Растекался над сумеречным поселком зеленый закат. Тихо и пустынно на улице Жан-Поля Марата. Недружный крик лягушек не нарушает тишину. И покой, и удивление, и почтительный страх, и восторг Дюшки перед миром. Знакомый мир опять перевернулся — неожиданной стороной, дух захватывает.

И в этом вывернутом, неожиданном мире неожиданно возникла перед Дюшкой вовсе не странная, а надоевшая знакомая фигура Кольки Лыскова. В мятой кепчопке, широкая улыбочка морщит обезьянье личико, открывает неровные зубы, ноги не стоят на месте, выплясывают.

— Дюшка! Хи-хи! Здравствуй... Гуляешь, Дюшка?

— Чего тебе, макака?

— А ничего, Дюшка. Мне — ничего... Хи-хи! Кто это, думаю, идет? А это он, сам по себе... без портфельчика. Где портфельчик, Дюшка? Хи-хи! Ты же с ним не расстался...

Колька Лысков с ужимочкой оглянулся через плечо, и Дюшка увидел Саньку.

Тот стоял в стороне — угловато-широкий, ноги расставлены, руки в карманах, остановившиеся глаза, твердый нос — Санька Ераха, мешающий жить на свете.

Он не двигался, он не спешил. А на болотах за домами упрямо картавили самые неумные лягушачьи певцы, прокрадывались по улице застенчивые сумерки, обжитым теплом светились окна домов, и над Санькиной головой в не помрачневшем еще небе висели две-три бледные, незрелые звезды. В самом центре вечно неожиданного мира, где бак водокачки связан с пионерами, бесконечность с попой жизнью, Наталья Гончарова с Братеневой Римкой, в самом центре, закрывая мир собой, — Санька. И за ту короткую минуту, пока Санька медлил, а Колька Лысков выплясывал, Дюшка еще раз пережил открытие.

В его ли мире живет Санька? Он же знать не знает, что бледные звезды над его головой — далекие солнца с планетами, для него нет бесконечной Вселенной, не подозревает, что лягушка может заставить человека носить кирпич в школьном портфеле. Санька живет рядом с Дюшкой, но вокруг Саньки все не так, как вокруг Дюшки, — другой мир, несколько не похожий. Сейчас Санька шагает... в Дюшкин мир.

Сучащий ногами Колька Лысков отбежал в сторону:

— Санька, он налегке сегодня, он без портфельчика! Слышал, Санька, он спрашивает: чего тебе?.. Хи-хи! Скажи ему, Санька, чтоб понял. Хи-хи!

Санька, не вынимая рук из карманов, шагнул на Дюшку, произнес с сипотцой:

— Ну!

— Чего — ну!

— А ничего — встретились. Не рад?

Они встретились, Санька вплотную к Дюшке, незванный гость из другого мира: круглые застывшие глаза, мертвый нос, тяжелое дыхание в лицо.

Кирпич лежал дома под лестницей. Не мог же Дюшка выйти вечером на прогулку с портфелем. Пуста улица, в домах мирно горят окна.

— Рад или не рад, спрашиваю?

— Днем-то боялся наскочить на меня.

Колька Лысков, держась в стороне, ответил за Саньку:

— Хитер бобер! Днем-то ты кирпич в портфельчике носишь. Зна-а-ем!

— А ты, Санька, что в кармане носишь? Покажи.

— Увидишь, успеется.

Дюшка успел присесть, Санькин кулак сбил с головы фуражку. Закрывая рукавом лицо, Дюшка приготовился ударить Саньку ногой, но неожиданно донесся голос Кольки Лыскова:

— Шухер!

Послышалось Санькино пыхтение:

— П-пыс-сти, падло! Пыс-ти!

Он вырывался из рук какого-то человека, тот прикрывал Дюшку сутуловатой спиной, отталкивал Саньку:

— Охладись, парнишка, охладись!

— П-пыс-ти! Г-гад!

— И не скотинься, поганец, уши надеру!

Санька был сильнее всех ребят на улице, но перед ним стоял взрослый, хотя и мешковато топчущийся, неуклюжий, но все-таки человек иной, не мальчишечьей породы.

— Уймись лучше, уймись, не распускай руки!

И Сапьяк отступил, бессильно закричал:

— Ну, Дюшка, помни! Завтра встретимся! Пролетится кровушка!

— Кровушка?.. Ах ты гаденыш! Жить только начал, а уже звереешь.

— Я и тебя, огарок! И тебя! Ужо вот камнем из-за угла!..

— Эх, бить людей не умею, а стоило бы! — Прохожий



стал оттеснять Дюшку в сторону:— Идем отсюда, паренек, идем от греха!

Вдалеке выплясывал Колька Лысков, кривлялся, кричал весело:

— Ой, Санька, умяли тебя! Ой, Санька, встречу испортили! А как было хорошо встретились!

— Еще встретимся! Поплачешь, Дюшка. И Минька слезьми умоется.

— Эх, не умею людей бить!.. Идем, паренек, идем! До дому провожу...

Спасителем Дюшки был Минькин отец Никита Богатов в сбитой на затылок шляпе, суется в своем слишком просторном пальто, с выражением досадливой зубной боли на узком лице. Он шел вместе с Дюшкой, разводил длинными рукавами, бормотал, не заботясь о том, слышит его Дюшка или нет:

— Как вылечить людей от злобы? Жена мужа не уважает, прохожий прохожего, сосед соседа... Найти б такое, чтобы все друг к дружке с понятием: ты мое пойми, я — твое. А то на вот, с самого детства — прольется кровушка! Такие-то и портят жизнь. От таких-то, поди, и войны на земле идут...

Непонятный человек. Идут рядом, бок о бок, но он где-то. И бормотание его непонятно, и вообще, сам себе читает стихи, сам себе и деревьям... Опять все не так, как вокруг Дюшки,— идут рядом, живут рядом, но в разных мирах. А Дюшкин отец тоже совсем, совсем рядом, но у Дюшки одно, у отца другое. И у матери другое, не похожее ни на Дюшкино, ни на отцовское, ни па Никиты Богатова... Неужели сколько людей, столько и разных миров? К Левке Гайзеру Дюшка чуть-чуть заглянул. Тоже ведь странный мир, там даже смерть считается какой-то ненастоящей... Хотелось бы заглянуть и к этому — Никита Богатов, Минькин отец, добрый человек, но сам Минька почему-то его не любит.

И Дюшка старательно прислушивается к бормотанию.

— Почему не понимаем друг друга? Да потому, что слова не найдем, которое бы до сердца дошло... Что слово? Звук, сотрясение воздуха? Нет — сила! Скажи хорошее слово человеку — и он счастлив. Хорошего родить не можем, ругань в нас легче рождается, ругань всегда наготове в каждом лежит... Пущу кровушку! Тьфу! Вот ты, паренек, знаешь ли хорошие слова?

— Знаю,— неуверенно ответил Дюшка.

— А ну скажи — какие?

И Дюшка растерялся, какое именно из хороших слов сказать сейчас, все они как-то вдруг вылетели из головы. Никита Богатов вздохнул:

— Ладно уж, не тужься, постарше тебя этого не знают. Хорошее слово, как чистый алмаз, редко. Беги давай домой, ты вроде тут живешь. Беги, не жду от тебя. Ни от кого не жду.— И внезапно надтреснутым голосом прочувствованно продекламировал:

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть...

Да-а, слово...

Богатов повернулся и пошел, путаясь ногами в полах пальто, продолжая бормотать. Дюшка прибито стоял, смотрел в его сутулую спину, вдруг сорвался, рванулся следом:

— Дяденька Богатов! Дяденька!.. Спасибо вам!

— А,— сказал он вяло, едва оглянувшись.— Ладно.

Похоже, он не считал «спасибо» таким уж хорошим словом. А лучших слов Дюшка не знал.

— Минька, скажи, что плохого сделал тебе отец?

Молчание.

— Может, он бьет тебя, Минька?

— Нет, что ты!

— И не пьет?

— И не пьет.

— И не ругается?

— И не ругается.

— Что тогда? Что?!

— Он... Он не такой, как все, Дюшка.

— А разве ты — как все? А я — как все? А Левка Гайзер — как все? А есть ли такие, которые — как все?

— Дюшка, я его то очень люблю, то ненавижу.

— Так не бывает, Минька.

— Бывает, Дюшка, бывает. У меня — так.

У матери на коленях лежит недовязанный свитер и губы сплюснуты в ниточку. Когда у матери неприятности, Климовна подсовывает ей вязанье: «Успокаивает». Иногда мать начинала возиться со спицами и в самом деле успокаивалась, но чаще не помогало — мать сидела неподвижно над недовязанным свитером, глядела прямо перед собой, сжав губы.

Не помогал свитер и теперь. Мать боялась за жизнь Гринченко, а сегодня неожиданно умерла девочка, недавно доставленная в больницу из дальней деревни.

Отец ходит по комнате на цыпочках, ворошит пятерней волосы, пробует сердиться, но осторожно — как бы не осердилась в ответ мать.

— Ты же не могла знать, что у такой маленькой окажется больное сердце.

— Должна знать. Не проверила.

— Но у нее же воспаление легких!

— Тем более обязана снять кардиограмму.

Климовна вздохнула:

— Охо-хо! Одна у всех голова и та па ниточке.

Дюшка помаялся, помаялся и не выдержал, подлез к матери под руку, заглянул в запавшие глаза:

— Мам, а я виноват?

— Ты?.. В чем?

— Ты, наверное, много обо мне думала?

Мать отвела глаза.

— Нет, сынок, ты нисколько не виноват.

Дюшка, не зная, чем еще помочь, решил сказать:

— Мам, эта девочка, может, не насовсем умерла.

Мать легонько отстранила Дюшку:

— Иди, сынок, зачем тебе думать о смерти.

Отец перестал ходить взад и вперед, насторожился. А Климовна вздохнула:

— Господи! Господи! Где уж не насовсем. Ныне в царствие небесное даже мы, старые, не верим.

— Мам, девочка ожить еще может когда-нибудь.

— Такого не бывает, сынок.

— Мам, для этого надо знать только, что Вселенная бесконечна. Если бесконечна, то обязательно... И ты, и я, и все, и девочка.

— Что за чушь? — громыхнул стулом отец. — Кто тебе нашел это?

Если б отец спросил иначе, Дюшка, наверное, и открыл, кто. Левка Гайзер не сказал, что это секрет. Но «чушь», но «напел», и стул пнул, и голос сердитый. Э-э, нет, Дюшка не собирается подводить Левку.

— Никто. Я сам.

— Сам ты не мог.

Мать вступилась за Дюшку.

— А я бы сама с охотой поверила, что от смерти есть лазейка. С охотой, если б могла.

— Как ты можешь так говорить: ты же врач, ты же соприкасаешься с наукой ежедневно!

— Потому и говорю, что едва ли не ежедневно сталкиваюсь с бессилием своей науки, и уж если не каждый день, то часто... Как вот сегодня — со смертью. Бессмысленной. Равнодушной. Если б поверить — есть лазейка в бессмертие!

— И что? Помогло бы твое «поверить» бороться со смертью?

— Нет. Но мне самой было бы тогда куда легче.

— Так в чем же дело? Возьми да поверь. К твоим услугам даже старые рецепты: райские кущи, нетленные души, ангелы-серафимы и прочая белиберда.

— Слишком старые рецепты, наивные — вот беда. Не могу поверить.

— Меня лично смерть не пугает! Сколько мне там отпущено природой — шестьдесят, семьдесят, больше лет? Они для меня только и важны. Уж их-то я постараюсь использовать. Я за свое время успею наследить на земле. А смерть придет — что ж... Потусторонним спасать себя не стану.

Отец стоял посреди компаты, расправив широкие плечи, вскинув большую взъерошенную голову, с обветренным, крепким, словно вычеканенным из меди лицом, — сам себе бог. И у матери впервые за этот вечер обмякли сплюснутые губы, дрогнули в улыбочке.

— Счастливый, — сказала она.

— Да! — с жаром ответил отец. — Да! Жизнью, мне выпавшей, счастлив.

— Но коза бабки Знобишиной счастливее тебя. Она живет себе и знать не знает, что существует такая неприятность, как смерть.

Отец фыркнул, отпихнул ногой стул, слишком близко стоявший к нему, а мать со слабой улыбкой склонилась над вязаньем.

И тогда отец повернулся к Дюшке:

— Я знаю, откуда у тебя эта шелуха! Дружок твой тебе принес, этот Минька! Отец у него не от мира сего, накрутил сыну...

— Уж верно,— подтвердила Климовна.— Их-то атлас липнет до нас.

И как раз в эту минуту за дверью раздался робкий полустук-полуцарапанье.

— Кто там? Входите! — крикнул отец.

И вошел Минька. В новешенькой куртке с «молнией», как у Левки Гайзера,— мечта всех ребят, мечта Дюшки. Встал на пороге со стеснительной светлой улыбочкой, но натолкнулся взглядом на Дюшкиного отца и заробел — улыбочка слиняла.

— У меня сегодня... День рождения у меня... Так я думал — Дюшку... Мама торт к чаю испекла.

— Мам, я пойду! — вскочил Дюшка, готовый спорить и доказывать.

— Надень только чистую рубашку. И хорошо бы подарок...

— Минька! Я тебе свой конструктор подарю!

Минька снова стеснительно заулыбался, а отец молчал. Отец попросту был лишен права голоса.

Коробку «Конструктор» Дюшка положил в портфель, вытряхнув из него учебники, а спустившись вниз, отдал конструктор Миньке, вместо него загрузил вынутый из-под лестницы кирпич. Дураков нет — снова в лапы Саньке.

— Минька, одна девчонка... Но это секрет, Минька! Никому!

— Не. Могила.

— Одна девчонка второй раз живет.

— Как это, Дюшка?

— Очень просто. Жила, жила когда-то да умерла, а потом второй раз родилась.

— Дюшка, ты чего?

— Спроси Левку Гайзера — так бывает, наукой доказано.

— Левка... Он знает. Только я все равно не верю, Дюшка.

— Раньше эта девчонка знаешь кем была?

— Кем?

— Женой Пушкина.

— Д-дюш-ка!..

— Слышал, никому, секрет!

15

На столе стояло два торта — один уже разрезанный, для еды, другой большой, круглый, красивый, для свечей. Тринадцать тоненьких елочных свечей горели бескровно-бледными огоньками. Тринадцать лет Миньке, он на два месяца моложе Дюшки. Дюшке ко дню рождения такого торта со свечами не поставили — ни мать, ни Климовна не догадались.

И еще на столе бутылка, не сидро какое-нибудь, а настоящее вино, красное до черноты, торжественный мрак под поблескивающим стеклом, сразу видно — праздник не на шутку.

Минька не захотел снимать новую куртку, так в ней и уселся за стол — потеет, поеживается от удовольствия, щурится на тринадцать свечей и улыбается так широко, что видна щербинка в зубах, которую раньше Дюшка не замечал.

Минькина мать в кружевном воротнике, с большой брошью, толстые косы обвиты вокруг головы, лицо крупное, белое, с выдвинутой вперед нижней губой. Она и прежде всегда немного пугала Дюшку, сейчас он при ней чувствовал себя что-то неловко, в голове с самого дна всплывали забытые наставления вроде: не клади локти на стол, держи нож в правой руке, не смейся слишком громко. И Дюшка старался: не клал локти на стол, улыбался по-взрослому, не раскрывая рта, уголками губ, топко, значительно, высокомерно, как какой-нибудь граф Монте-Кристо.

Минькин отец вблизи, в домашней обстановке, не выглядел уж таким странным, каким казался на улице: умытый, светлый, пупленький, беспокойный, с мальчишеским хохолком на макушке, с сухим, судорожным, вовсе не мальчишеским блеском в потемневших глазах. Он посто-



янно порывался помочь жене, но видел, что мешает, коффузился, впадал на минутку в уныние, но быстро веселел, снова начинал дергаться и суетиться.

Наконец он ломкими, неловкими пальцами раскупорил парадную бутылку и, рискованно балансируя, налил марочное вино — полную рюмочку жене, полную рюмочку себе, капнул на доньшко Дюшке, капнул Миньке, чинно вытянулся, значительно прокашлялся:

— Мой сын! Все мы желаем тебе счастья. А что это такое, сын?..

Минька кинул взгляд на мать, и щербинка в зубах исчезла, он поежился и стал медленно клониться к столу. А мать — ничего, сидела с высоко поднятой головой, глядела прямо перед собой, и белое лицо ее было спокойно.

— Ты радуешься новой куртке, сын. Радуйся, но помни — ни куртка, ни любая другая вещь не делает человека счастливым. Люди наделали много вещей, полезных, помогающих удобно жить, но счастливей от этого не стали...

— Никита...

Мать по-прежнему глядела перед собой со спокойным лицом.

— А что?.. Разве я что-нибудь?

— Хоть сегодня-то не заумничай, Никита. Дети же перед тобой. Что они поймут?

И Минькин отец загляделся в свою рюмку, в красные отсветы тяжелого вина.

— Да... — сказал он. — Да... Так выпьем... Выпьем, сын, за то, чего не было никогда у твоего отца — за уважение.

Опрокинул в себя рюмку, сел, и хохолок бесцветных волос потерянно торчал на его макушке.

— А я, сынок, — подняла рюмку мать, — пью за то, чтобы стал ты нормальным человеком, жил нормальной, как у всех, жизнью. Это, наверное, и есть счастье.

— Что та-кое нор-маль-ность? — спросил Минькин отец.

— Не будем сегодня затевать спор, Никита.

— Да... Да... Хорошо, Люся. Не будем.

Выпили. Дюшка тоже — каплю сладкого, едкого вина со дна рюмки. За столом наступило молчание. Дюшка не клал локти на стол, улыбался уголками губ. Счастье, должно быть, очень приятная вещь, но Дюшка замечал, что разговоры о счастье у взрослых почти всегда бывают неприятными. И Дюшкин отец недавно говорил о счастье раздраженно: «Жизнью, выпавшей мне, счастлив». И Дюшкина мать не верила ему: «Коза бабки Знобишиной счастливее».

Заговорила Минькина мать, грустно, ласково, на этот раз глядя прямо на Миньку:

— Я хочу, сынок, чтоб у тебя в жизни было побольше маленьких радостей, хотя бы таких вот, как эта новая куртка. И чтоб ты и другим дарил такие маленькие...

— Нет! Нет! — снова пришел в волнение Минькин отец. — Желать маленького — курточек, чистых простынь, вкусных пирогов... Нет! Нет! Унизительно!

Минька в своей новой нарядной куртке пригнулся к столу, прятал лицо. Минькин отец беспокойно ерзал на стуле, глядел на Минькину мать просящими глазами, ждал возражений. Но Минькина мать молчала, только лицо ее стало неподвижным, каким-то тяжелым.

— Ты клеветешь на себя, Люся.

— Я простая баба, Никита, хочу уюта, чистоты, покоя, не заносясь высоко.

— Нет, нет, ты не такая! Не клуша!

— Была... Девчонкой верила: с милым рай и в шалаше. Теперь не устраивает.

Минькин отец повернулся к Дюшке:

— Мальчик, не верь ей. Это великая женщина!

— Брось, Никита, не надо.

— Четырнадцать лет мы живем рядом, в одних степях. Я вижу ее каждый день... Каждый день по многу, многу раз. И всякий раз, как я вижу ее, во мне что-то обрывается. У меня изорвана вся душа, мальчик. Все внутренности в лохмотьях. И я... я благодарен ей за это. За рваные незаживающие раны... В конце концов иступленная боль заставит меня пайти такие слова, от которых все содрогнется!

Любить иных тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равнослен.

Это еще не мои слова. Я пока не дорос до такого. Но дорасту, дорасту! Мир содрогнется, когда выплесну изболешееся!

— Мир?.. От тебя?! Я уже разучилась смеяться, Никита.

— А вдруг да, вдруг да, Люся! Вдруг да явится Данте из поселка Куделино, воспевающий свою Беатриче. Сколько было на свете таких, которые казались смешными, над которыми издевались при жизни, а после смерти ставили им памятники.

— О господи! После смерти — памятник. Чем ты себя баюкаешь? Какая цена этому бреду? Цена — наша жизнь, моя, его! — Мать кивнула па Миньку. — Он сегодня в первый раз получил подарок. А я хотела бы хоть раз, хоть на одну недельку вырваться из этого сырого леса, из этого заваленного бревнами Куделина... Я ни разу в жизни не видела моря... «Любить иных тяжелый крест». Ложь! Быть любимой — тяжелый крест, когда тебя любят не просто, а с расчетом на... на памятник после смерти.

У Минькиной матери покраснел лоб, в глазах блестели слезы, блестели и не проливались, а отец Миньки съезжился, втянул голову в плечи, на макушке, словно выстреленный, несолидный хохолок.

— Я раб. Я не могу взбунтоваться, — сказал он.

Мать Миньки ничего не ответила, сидела прямая, красивая, с высоким возмущенным лбом под тяжелыми косами, смотрела куда-то далеко сквозь непролитые слезы.

— Люся, поедем отсюда... в город. Я снова поступлю в газету.

Она не шевельнулась.

— Люся, я забуду, что презирал газетчину. Я буду писать статьи...

— Нас никто не ждет в городе. Где нам там жить? И твои обозрения не прокормят... Если ехать, то без тебя, мне хватит одного груза — сына.

Минька сидел, уткнувшись лицом в стол, в новой куртке, такая во всем поселке только у одного Левки Гайзера. У Минькиной матери на глазах невылившиеся слезы, а у Миньки... не видно. Разговоры о счастье.

На круглом торте оплывали тонкие свечи — тринадцать свечей, тринадцать лет.

— Он стихи, Дюшка, пишет. Он все знаменитым стать хочет.

— Минька, он очень несчастный.

— А мамка не несчастная, Дюшка?

— Он ее любит, она его — нет. Кто несчастнее?

Вечерний воздух па улице Жан-Поля Марата был пронизан блуждающими запахами — земляной сыростью, горечью новорожденных листьев, сладковатой древесной истомой выкаченных из реки бревен. И от самой реки через весь поселок мощно тянуло пресной прохладой. Но всего сильнее пахнул одинокий молодой тополек, стоящий на углу Минькиного дома. Неприметный днем, неказистый, забытый, он сейчас буйствовал в сумерках, источал такую напористую свежесть, что хотелось пить, пить, пить воздух, наливаясь бодрой силой. Весь пахучий мир лишь слабо подтягивал этому маленькому запевале.

— Значит, мамка плохая, Дюшка?

— А разве я говорил, что она плохая?

— Не любит же, виновата.

— А можно любить, если не любитя, Минька? Это все равно — пей воду, когда не пьется.

— Так мамка хорошая, Дюшка?

— Да.

— И папка хороший?

— Да.

— Как же так, Дюшка: мамка хорошая, папка хороший, а дома плохо, хоть беги?

Дюшка растерялся: случается ли, что хорошие люди творят плохое? Было бы куда проще найти виновника.

Выскочивший провожать Минька убито топтался перед Дюшкой. Блуждали в воздухе беспокойные запахи. Неказистый, смиренный тополек — главный бунтарь среди беспокойных.

16

«Одному ученому нужно было узнать, сколько в пруду рыб. Для этого он забросил сеть и поймал тридцать штук. Каждую рыбу он окольцевал и выпустил обратно. На другой день он снова забросил сеть и вытащил сорок рыб, па двух из которых оказались кольца. И ученый вычислил, сколько приблизительно рыб в пруду. Как он это сделал?»

Вася-в-кубе время от времени проводил «урок одной задачки» вместо контрольной. В такие дни он был строг, немногословен, важен — он ждал победителя. И уж этого победителя Вася-в-кубе заносил в отдельную книгу, хвалил где только мог: «Проницательного ума. Незаурядных способностей. Надежда школы».

Дюшка же победителем стать не мечтал — выше тройки никогда не хватал по математике. Но в последнее время он научился решать задачки. Каждая задача — нераскрытая тайна. Тайна и здесь...

Гуляют в пруду рыбы. Да разве можно их пересчитать? Руками не перещупаешь — мол, раз, два, три, четыре... Ин-те-рес-но!

Дюшка по привычке записал: «Сколько рыб в пруду = X». Икс тайны не раскрывал, и Дюшка сразу забыл его.

С первого же раза ученый вытащил тридцать рыбин. Ничего улов, значит, водится в пруду рыбка.

Тридцать рыб гуляют в пруду с кольцами на хвостах. Две из них — только две! — вытащил ученый среди сорока. Есть в пруду рыбка, есть. Маловато вытасчено с кольцами. Во сколько же раз больше неокольцованных? Сорок, а среди них всего две. Да ясно же — в двадцать раз!.. Ха! И это называется трудная задача! Тридцать окольцованных помножить... Но икс? При чем тут он? Куда бы его приспособить?

Все это как-то очень быстро пронеслось в Дюшкиной голове — за каких-нибудь пять минут. Вася-в-кубе не успел еще стряхнуть с себя мел, не успел опуститься на стул.

— Чего тебе, Тягунов? — кисленько спросил он, увидев Дюшку, тянувшего руку.

Конечно же, он подумал, что Тягунову приспичило выйти из класса — самое время подалее от задачи.

— Я решил.

Грозные брови Васи-в-кубе поползли к лысине, а класс притих.

— Покажи! — Приказ недобрым голосом.

Показывать Дюшке было нечего, в тетради после условия задачи стояла только одна запись: «Сколько рыб в пруду = X». И непонятно, к чему этот икс нужен?

— Я в уме решил. Василий Васильевич.

— Час от часу не легче, — проворчал Вася-в-кубе и снова кисленьким голосом: — Что ж, Федор Тягунов, выйди к доске, послушаем твое решение.

Дюшка сам оробел от своей дерзости, однако вышел, встал, как положено, лицом к классу и рассказал:

— Тридцать рыбин в кольцах. Две попались среди сорока. Значит, некольцованных в двадцать раз больше. Тридцать на двадцать — всего шестьсот.

И все, умолк, страдая, что рассказ его занял так мало времени.

Класс недоверчиво молчал. Вася-в-кубе возносил к лысине брови и разглядывал Дюшку.

— Да!.. — наконец подал он голос. — Да!.. Все правильно. Просто и ясно. У тебя ясный ум, Тягунов! Ты лодырь, Тягунов! Ты два года водил меня за нос, прятал за ленью свои способности. Незаурядные способности! — Вася-в-кубе повернулся к молчащему классу. — Вот как надо мыслить, друзья. Молниеносно! Вламываться сразу в самую суть.

И громовым басом, почти угрожающе Вася-в-кубе припаялся расхваливать Дюшку. Дюшка стоял у доски и от непривычки чувствовал себя очень плохо — хоть провались сквозь пол от этих похвал.

Наконец Вася-в-кубе торжественно умолк, торжественно вынул из нагрудного кармана самописку, торжественно отвинтил колпачок, торжественно склонился над журналом... Сомневаться не приходилось — пятерка.

— Голубчик, возьми щетку, приведи себя в порядок.

...Слух о Дюшкином ученом подвиге быстро разнесся по всей школе: шутка ли, за пять минут — в уме! — задачу «на победителя».

На перемене к нему подошел Левка Гайзер:
— Старик, ты быстро научился плавать.

Как равный равному, уже не называя Дюшку тараканом.

И это слышали все, кто был в эту минуту в коридоре. И случайно тут стояла Римка Братенева. Стояла, слышала, смотрела на Дюшку. Уважительно.

Он станет великим математиком и прославит школу, поселок Куделино, отца, мать, Миньку, с которым дружит, бабушку Климовну, которая его вынянчила.

Он вместе с Левкой откроет, что Вселенная бесконечна. И хотя он не знает, почему от бесконечности должны вновь рождаться уже умершие люди, все равно откроет. Левка снова появится на свет, он, Дюшка, тоже, и Минька, и отец с матерью — все, все узнают, что никто не умирает навсегда.

Он еще знает то, о чем не подозревает даже Левка: Римка Братенева когда-то была женой Пушкина.

Он умеет видеть, чего никто не видит.

Он разглядел, что отец Миньки вовсе не такой уж плохой человек.

Он пойдет к Минькиной матери и скажет: полюби мужа — он станет счастливым.

И Минька тоже...

А все в поселке удивятся: какой хороший человек Дюшка Тягунов.

И какой умный!

И Римка первая подойдет к нему: давай, Дюшка, дружить.

А он ее тогда спросит: «Ты знаешь, кто ты?» — «Нет». — «Наталья Гончарова, жена Пушкина, первейшая красавица — «чистойшей прелести чистойший образец».

Дюшка был счастлив и не подозревал, что счастье капризно.

После уроков он одним из первых выскочил с портфелем из школы. В портфеле по-прежнему лежал кирпич. Существует на белом свете Санька Ераха, и с этим, хочешь не хочешь, приходится считаться.

Мипьке он решительно сказал:

— Иди один, у меня дела.

Он хотел видеть Римку. Почему-то он надеялся: сегодня она пойдет домой одна, без девчонок. И он попадет к ней на глаза. Конечно, печально. И она заговорит, и они вместе пойдут домой. И кто знает, быть может, он уже сегодня, сейчас, через несколько минут, скажет: «Чистейшей прелести чистейший образец». Вчера о таком мечтать не смел. Вчера он был обычным мальчишкой, каких много в школе.

Он долго кружил на углу улиц Жан-Поля Марата и Советской, пока не увидел ее.

Она шла без девчонок, но не одна. Шла тихо, нога за ногу, смотрела в землю, тонкая, скованная, знакомая, хоть задохнись. И рядом с ней — поролоновая курточка нараспашку — вышагивал Левка Гайзер. И тоже нога за ногу, не спеша, вдумчиво. Он что-то говорил ей, она слушала и клонила голову вниз, и было видно издали — не хочет быстрее идти, нравится. Знакомая и чужая.

Минуту назад он верил, что прославит школу, поселок, отца, мать, старую Климовку, даже Миньку. Сейчас он представил себя со стороны — так, как если бы Римка вдруг подняла голову и увидела его. Посреди улицы мальчишка в штанах с пузырями на коленях, с толстым портфелем в руке. Он носит с собой кирпич, потому что боится Саньки Ерахи. Ему постоянно чудится черт знает что, черт те о чем мечтает. Он случайно решил задачу и зазнался. Он не умеет крутить на турнике «солнце», у него нет накачанных мускулов, нет красивой куртки.

Римка с Левкой не спеша двигались на него. Надо было уходить, надо прятаться, но ноги не слушались...

Минуту назад он чувствовал себя чуть ли не самым счастливым человеком на свете. Ошибался — самый несчастный.

Мир играл с Дюшкой в перевертыши.

17

А на следующий день на уроке Васи-в-кубе в тихую минуту Дюшка, доставая тетрадь из портфеля, печально выронил кирпич на пол. Гулкий удар, должно, слышен был на всех этажах.

Кирпич перешел в руки Васи-в-кубе.

— Тягунов, что такое? Для чего тебе эта штука?

Дюшка не пожелал сказать.

— Выясним.

После урока Вася-в-кубе торжественно отнес кирпич в учительскую.

Исчезли лужи, подсохли тропинки, выползала травка, распустившийся лист ронял на землю сквозную тень, и в скворечниках раздавался уже писк новорожденных скворцов. Все, что могла совершить весна, свершилось — состоялось ежегодное сотворение всего живого. Живому теперь предстоит расти и мужать. В разгар весны проглядывало лето.

И ребята праздновали: все высыпали теперь во время перемены во двор без пальто, без шапок — крик, возня, взрывы смеха, каждый немножко пьян от солнца и воздуха. Даже верный друг Милька по-пороссячьи повизгивает где-то в стороне, забыв о Дюшке.

Девчонки тесно сбились у прогретой стены, галдят. С ними Римка...

Нет радости, что она близко, что глаза ее видят, уши ее слышат.

Нет радости от тепла, от солнца, от яркой узорной зелени.

И вообще, всякая радость — обман. Сейчас есть, через минуту — исчезла.

И впереди тягостное объяснение с Васей-в-кубе, быть может, с самой директрисой Анной Петровной: «Зачем кирпич? Почему кирпич?»

И Санька, конечно, уже знает, что он, Дюшка, обезоружен.

Санька стоит под столбом, на котором когда-то висели канаты для «гигантских шагов». Как всегда, вокруг Саньки холуи вроде Кольки Лыскова. Дюшке видна Сапькина соломенная шевелюра, слышен его сипловатый голос. Вокруг Саньки сейчас смеются. Должно быть, Санька говорит о нем, Дюшке, должно, что-то обидное.

И Санькины речи, возможно, слышит Римка. Она сейчас стоит ближе к Саньке, чем Дюшка, ей слышней...

От Санькиной группы отделился Колька Лысков, с прискоком жеребенка подтрусил к Дюшке, жмурится всей сведенной в кулачок старушечьей рожицей.

— Дюшка...— Голос сладенький, сочувственный (сейчас скажет пакость).— Как же ты сегодня без кирпича домой?..

Дюшка смотрит мимо счастливо жмурящегося Кольки, молчит. А Колька хоть бы что — привык, когда встречают: «Видеть тебя не могу».

— Дю-юш-ка... Санька говорит, чтобы ты лучше не выходил из школы. Он тебя и с кирпичом хотел... У тебя кирпич, а у него ножик. Хи-хи!.. Теперь он тебя и без ножа... Хи-хи! Мамка не узнает.

Привирает Колька про нож. А может, и нет. Не зря же Санька тогда кричал: «Кровь пушу!»

Колька улыбочиво жмурится, Колька рад, что скоро увидит, как Санька расправится с Дюшкой. Сам Колька никогда ни с кем не дрался, по любит глядеть драки, хлебом не корми. Дюшка не выдержал, засмотрелся на улыбочивого Кольку. Стукнуть его, что ли? Утрется и убежит, а Саньку все равно не минуешь. Санька не знает жалости, а за Дюшкой теперь много числится — будет бить на смерть.

Радостно, в самое лицо улыбается Колька Лысков. И в Дюшке вдруг что-то поднялось из глубин, от желудка к горлу, стало трудно дышать. Не столько от ненависти к Сапке, сколько от стыда за себя: боится же, боится, и это сейчас видит Колька, наслаждается его страхом. Он таскался как дурак с кирпичом и прятался за спину Никиты Богатова. Богатов никак не герой, но Саньки не испугался. А если у Саньки нож, что стоило ему ударить ножом взрослого. И ни разу он, Дюшка, не схлестнулся по-настоящему с Санькой. Санька готов был открыто помериться силой, Санька, выходит, честней..

Жмурится в лицо Колька Лысков. Девчоночьи голоса в стороне. Девчоночьи голоса и смех. И резануло по сердцу — прозвучал смех Римки, звонкий, чистый, серебряный, не спутаешь.

Дюшка шагнул вперед. Колька Лысков шарахнулся от него столь быстро, что морщинистая улыбочка не успела исчезнуть.

Опустив плечи, пригнув голову, Дюшка двинулся прямо на столб, под которым торчала соломенная нечесаная Санькина волосня. Окружавшие Саньку ребята зашевелились, запереглядывались между собой и... расступились, давая Дюшке дорогу.

Санька оторвал плечо от столба, встал прямо: болотная зелень в глазах, серый твердый нос, на плоских скулах, на подбородке стали медленно просачиваться красные пятна. Все-таки чуточку он побаивается, все-таки Дюшка чем-то страшен ему — пятна и глаза круглит. Дюшка зарылся взглядом в зелень Санькиных глаз.

— Палач! Скотина! Думаешь, боюсь?

— Да неуж?.. Может, тронешь пальчиком?

Над школьным двором стоял звонкий, веселый гвалт. Никогда еще так плохо не чувствовал себя Дюшка: никому до него нет дела, никому, кроме Саньки. Санька ненавидит его, он — Саньку!

И со стороны снова донесся беззаботный Римкин смех, особый, прозрачный, колеблющийся, как нагретый воздух, что дрожащим маревом поднимается над землей.

И смех толкнул... всю выношенную ненависть, свои несчастья, свой стыд — в пятнистую физиономию, в нечистую зелень глаз, в кривую узкую улыбочку! Кулак Дюшкин врезался с мокрым звуком, Санька качнулся, но устоял. Дюшка ударил второй раз, но попал в жесткое, как бульжник, Санькино плечо.

Прямо перед собой — два круглых провальных глаза. Дюшка не успел выбросить им навстречу кулак. Он не почувствовал боли, он только услышал хруст на своем лице, и яркий солнечный двор, и сипее небо качнулись, потекли, стали жидко проваливаться местами, пятнами, а на голову словно нахлобучили чугунный тяжелый горшок. Кажется, он успел пнуть ногой Саньку, тот охнул и согнулся...

После этого он помнил только какие-то пестрые ключья: нацеленный серьезный Санькин нос; треспушная на груди рубаха; судорожно сжатый кулак, свой кулак, запачканный свежей кровью, собственной или Санькиной — неизвестно; Санькин скривленный рот; стена мальчишеских лиц, серьезных от испуга... И тишина во дворе, солнце и тишина, и тяжелое сопение Саньки... Дюшка палетал, бил, промахивался. Санька отбрасывал его от себя, но Дюшка снова налетал, снова бил... Вытаращенные глаза Саньки, скривленные губы Саньки, кулак в судороге...

Кто-то робко попытался схватить Дюшку, он оттолкнул локтем, уголком глаза успел поймать перекошенное лицо Миньки...



И неожиданно вместо Санькиной ненавистной носатой, глазастой, косогубой физиономии появилось перед ним возбужденное, румяное, с туго сведенными бровями лицо Левки Гайзера. Он хватал Дюшку за грудь:

— Эй! Эй! Хватит!

Но за Левкой маячила Санькина шевелюра, Дюшка рванулся к ней, Левка уперся ему в грудь:

— Хва-тит!

Тогда Дюшка с размаху ударил Левку и... пришел в себя.

Яркий солнечный двор и тишина. Оцепеневшие глазастые лица ребят. Над их головами врезан в синеву большой кран. Левка с сухим недобрый блеском в глазах ощущал рукой скулу.

— Дерьмо же ты, оказывается,— сказал он.

Дюшка не возразил и не почувствовал раскаянья. Ненависти уже не было, была усталость.

И тут как из-под земли вырос Вася-в-кубе, лысиной в поднебесье, выше большого крана, и с невысказанной высоты глядело на Дюшку темное лицо. Вася-в-кубе взял тяжелой рукой за плечо, повернул:

— Пошли.

Завороженная стена ребячьих физиономий колыхнулась и распалась на две части, давая проход. Серой гибкой кошкой метнулся через дорогу Колька Лысков.

А Дюшка только сейчас почувствовал, что у него исчезло лицо, вместо него что-то тяжелое, плоское, как набухшая от сырости дубовая доска. Неся перед всеми свою деревянность, он цеплялся нетвердыми ногами за качающуюся, ненадежную землю.

Впереди кучкой стояли девчонки, все еще оцепенело замороженные. Среди них Римка — взметнувшиеся брови, круглые, как пуговицы, глаза, курчавинки на висках. Римка — совсем обычная, совсем ненужная сейчас.

Но когда толкающая рука Василия Васильевича и нетвердые ноги приблизили Дюшку к девчонкам, среди них раздался визг и все они с выражением страха и брезгливости дружно шарахнулись в сторону. И Римка — тоже, со страхом и брезгливостью в круглых глазах.

Это окончательно привело Дюшку в сознание. Он понял, как выглядит — рубаха расплосована, окровавлен, нет лица, есть что-то деревянное, плоское, чужое... Шархаются от него. Римка — тоже.

И вспомнил, что ударил Левку Гайзера...

...Окровавленную, расплосованную рубаху стащили и отправили отцу прямо на работу. Его же самого обмыли под краном, обмазали йодом, заставили поглядеться в зеркало.

Лицо осталось, не исчезло и было вовсе не плоским, наоборот — дико распухшее, в рыжих пятнах йода, посреди, где раньше находился нос, торчал трупно-синый бесформенный бугор. Он-то и ощущался деревянным.

18

Мать осмотрела Дюшкин нос, потрогала его холодными, сильными пальцами, больно — искры из глаз! — до хруста нажала, сказала почти равнодушно:

— Срастется. С неделю проходит красавцем.

И ушла в спальню, легла на кровать не раздеваясь.

Бабушка Климовна прибрала посуду на столе, повздыхала:

— Ох-хо-хонюшки! Тупой-то серп руку режет пуще острого.

Тоже ушла к себе.

Дюшка остался один на один с отцом. Отец ходил по комнате, попинывал — не сильно, не в сердцах — стулья, яростно ворошил пятерней волосы, не ругался, только время от времени ронял:

— Да... Да...

Короткое и тяжелое — в ответ своим мыслям.

А за окном торчал большой кран, под ним, должно быть, как всегда, суетятся люди — сортируют лес, радуются весне, ходят друг к другу в гости, любят — не любят. Дюшке уже нет среди них места. Римка шаррахнулась от него. И он ни за что ни про что ударил Левку Гайзера. И на лице деревянный, мешающий нос, с таким носом нельзя выйти на улицу...

А Левка хочет открыть бесконечность, и, непонятно, почему-то эта бесконечность обещает Левке вторую жизнь. Зачем вторая, когда и одну-то прожить так трудно.

Отец оборвал хождение, взял стул, поставил напротив Дюшки, оседлал его. Лицо отца за этот день опало, стало угловатым, лоб вылез вперед, глаза спрятались, глядят,

словно из поры, настороженно, выжидательно, с тревогой, по, кажется, без гнева.

— У нас, Дюшка, на сортировке попадаются эдакие крученые кряжи, которые ни в строительный не занесешь, ни в крепежник, ни в тарник. Их выбрасывают на дрова, но и дрова из них тоже плохие — не колются, намаешься. Дерево как дерево, а ни на что не пригодно...

Дюшка догадывался, куда клонит отец, но молчал.

— Человек, Дюшка, тоже может расти вкривь и вкось, — продолжал отец. — Часто болтается среди людей эдакая нелепость — где ни приткнется, всем мешает, все его отпихнуть стараются. А если упирается, рубят по живому.

У отца и взгляд прочувствованный, и голос сдержанный, по всему видать — собрался с силами, хочет от души объяснить непутевому сыну. От души, без раздражения. Но Дюшке меньше всего нужны такие объяснения. Он и без отца теперь знает, что ненормален, перекручен, трудно жить... Это лучше отца объяснила ему Римка Братенева — шарахнулась в сторону. «Тупой серп руку режет пуще острого».

Отец с досадой закричал стулом, подался вперед, заговорил горячее:

— У тебя перед глазами пример есть — Никита Богатов. Перекошенный человек, недоразумение. Сам несчастный, жену несчастной сделал, сына... Таким стать хочешь?

Дюшка наконец разжал губы, спросил:

— Пап, Богатов плохой, ну, а Санька Ераха хороший?

— Я ему о Фоме, он мне о Ереме. При чем тут Санька?

— Я с ним дрался.

— Так за это я должен поносить его? Ну, знаешь!

— Богатов плохой, Санька хороший?

— Да плевать я хотел на твоего Саньку! Мне на тебя не плевать.

— Санька убивать любит... лягуш.

— Лягуш?.. Черт знает что! Да мне-то какое дело до этого?

Действительно, какое кому дело, что Санька убивал лягуш? Почему к нему ненависть? Почему Дюшка так много думает о Саньке? Только о нем. Родился непохожий на других — мучает кошек, бьет лягуш. И не в кошках, не в лягушках дело, а в том, что он любит мучить и убивать.



И это страшное «любит» почему-то никого не пугает. «Да мне-то какое дело до этого?» Никому нет дела до того, что любит Санька. До Богатова есть дело, Богатова осуждают... вместе с Минькой.

И Дюшка, давясь словами, произнес:

— Он и людей бы убивал, если б можно было.

— Ну, знаешь!

— Он зверь, этот Санька, а Богатов не зверь. Что тебе Богатов плохого сделал? За что ты его не любишь? За что? За что-о?!

— Ты что кричишь?

— Боюсь! Боюсь! Вас всех боюсь!

— Эй, что с тобой?

— Никому нет дела до Саньки? Никому! Он вырастет и тебя убьет и мепя!..

— Дюшка, опомнись!

— Опомнись ты! Убивать любит, а вам всем хоть бы что! Вам плевать! Живи с ним, люби его! Не хочу! Не хочу! Тебя видеть не хочу!

Дюшка, вскочив на ноги, тряс над головой кулаками, визжал, топал:

— Не хо-чу!..

Отец верхом на стуле замер, глядя снизу в разбитое, перекошенное, страшное лицо сына.

На крик появилась мать, бледная, прямая, решительная, казалось, ставшая выше ростом. Отец повернулся к ней:

— Вера, что с ним?

— Принеси стакан воды.

Дюшка упал ничком на диван и затрясся в рыданиях.

— Что с ним, Вера?

— Обычная истерика. Пройдет.

Мать никогда не теряла головы, и сейчас ее голос был спокоен. Дюшка рыдал: никто его не понимает, никто его не жалеет — даже мать.

Его заставили вышить валерьянки и лечь в кровать. Он лежал и ни о чем не думал. Все кругом стало каким-то далеким и ненужным — Никита Богатов, Санька, Римка, непонимающий отец, Левка Гайзер, которого он ударил... И самый, наверное, ненужный и далекий из всех — он сам, пропадающий человек.

Дюшкин кирпич лег на стол директрисы школы Анны Петровны. Рыжий кирпич на зеленом сукне письменного стола...

Анна Петровна появилась в поселке Куделино вместе с новой школой. Казалось, ее где-то специально заготовили — для красивой, сияющей широкими окнами школы молодую, красивую директоршу с пышными волосами, громким, решительным голосом, университетским значком на груди.

С Анной Петровной не так уж трудно встретиться в школьных коридорах, даже на улицах поселка, но в кабинет к ней попадали только в особо важных случаях.

Рыжий кирпич на зеленом сукне — случай особый. Напротив стола разместились учителя и ученики: судьи, свидетели и преступники — Дюшка с Санькой. Даже Колька Лысков был приглашен, даже Минька затаился возле самых дверей на краешке стула.

Раз на столе в центре внимания — кирпич, то само собой вспоминают Дюшку: «Тягунов, Тягунов...» Саньку почти не трогают, он сидит нахохлившись, повесив нос, смотрит в пол, хмурый, обиженный: мол, что приходится терпеть человеку понапрасну.

— Гайзер, ты кому-то говорил, что видел этот кирпич и раньше у Тягунова? — ведет опрос Анна Петровна.

Подымается Левка. У него под левым глазом махровая желтизна — отцветший синяк, сотворенный Дюшкиным кулаком.

Левка отвечает без особого усердия и старается не глядеть в сторону Дюшки:

— Я, собственно, не видел этого кирпича...

— Как так — собственно?

— Я как-то заметил, что у него... Тягунова, толстый портфель, спросил: чем ты его набил? Он ответил — там кирпич.

— И больше ничего не спросил?

— Поинтересовался, конечно, — зачем кирпич? Ответил: мускулы развиваю.

— Давно это было?

— С неделю назад.

— И все это время Тягунов таскал... развивал мускулы?

— В портфель к нему я больше не заглядывал, кирпичом не интересовался.

— Оп таскал! Таскал кирпич! Я знаю! Не расставался! — выкрикнул Колька Лысков. Он и здесь, в кабинете директора, вел себя деятельно и радостно, словно ждал интересной драки.

Угнетенно-хмурый Вася-в-кубе подал голос:

— Странно все-таки. Неудобная вещь, даже для драки.

— Как же неудобная? Очень даже удобная! Тяжелая... — охотно отозвался Колька. — Сзади по затылку — тят, и ваших нет. Кирпичом и быка убить можно.

Анна Петровна грозно покосилась на Кольку, и тот опять же охотно, почти восторженно оправдался:

— Извиняюсь. Я чтоб понятней...

— Тягунов, — спросила Анна Петровна, — скажи, только откровенно: для чего?.. Для чего тебе этот кирпич?

Дюшка долго молчал, наконец выдавил:

— Если Санька вдруг полезет... Для этого.

— И ты бы ударил его... кирпичом?

Врать было бессмысленно, Дюшка признался:

— Полез бы — ударил.

— А ты не подумал, что действительно... таким — быка? Не подумал, что убить им можно человека?

Вася-в-кубе подождал-подождал Дюшкиного ответа и не дождался, с досадой крикнул, а одна из приглашенных на обсуждение учительниц, совсем молодая, преподававшая в школе всего лишь первый год, Зоя Ивановна, выдавила из себя:

— Какой ужас!

Вася-в-кубе решил прийти на помощь.

— Но ведь ты для самозащиты эту штуку таскал? — спросил он.

— Для защиты, — признался Дюшка почти с благодарностью. Он не хотел, чтоб его считали убийцей, даже Санькиным. — На всякий случай, когда Санька полезет...

— Полезет... — переспросила Анна Петровна. — Первый на тебя?

— Да.

— А вот все говорят, что первым в драку полез ты, Тягунов. Ты первый ударил Ерахова. Или на тебя наговаривают? Или это не так? — У Анны Петровны от негодования глаза стали опасно прозрачные, холодные.

Дюшка снова замолчал. Он молчал и понимал, что его молчание выглядит сейчас дурно. Так в кино молчат пойманные шпионы, когда им уже некуда деться.

— Как-кой ужас! — снова выдавила из себя молодая Зоя Ивановна.

А Вася-в-кубе крикнул еще раз.

Лежал перед всеми на зеленом столе рыжий кирпич — страшная, оказывается, вещь, им можно убить человека. Дюшкин кирпич, кирпич, специально приготовленный для Саньки. И он, Дюшка, первым напал на Саньку...

И сидел обиженно нахохленный Санька, чудом спасшийся от страшного кирпича.

Дюшка и сам начинал верить, что он преступник.

Помощь пришла неожиданно с той стороны, с которой ни Дюшка, ни кто другой не ожидал.

Притаившийся возле дверей Минька, Минька, случайно попавший на разбирательство, Минька, которого и не собирались сейчас спрашивать, вдруг вскочил на ноги и закричал тонко, срываясь, словно петушок, впервые пробующий свой голос:

— Дюшка! Ты чего?.. Дюшка! Скажи всем! Скажи про Саньку! Он же хвастался, что убьет тебя! Я сам слышал! Ножом страшал!

И Санька взвился, его лицо потекло красными пятнами:

— Врет! Врет! Не хвастался!.. У меня даже ножа нет! Обыщите! Нет ножа!

— О каком ноже речь? Ты что? — Глаза Анны Петровны утратили прозрачность, стали обычными — испуганными.

Но Минька, тихий Минька с яростью накинулся на Саньку:

— Ты все можешь, ты и ножом! Про твой нож Колька хвастался!

— Ничего я не хвастался! Ничего не знаю! — завертелся ужом Колька Лысков.

— Честное слово! Дюшка добрый. Дюшка даже лягушку... Дюшка слабей себя никогда не обидит! А Санька и ножом, ему что?

— Чего он на меня? Ну, чего?.. Никакого ножа... Вот глядите, вот... — Санька начал выворачивать перед всеми пустые карманы.

— Он трус! Он только на слабых. Потому Дюшка и кирпич... Знал — Санька тогда на него не полезет, испу-

гается. И верно, верно—Дюшка давно этот кирпич таскал в портфеле. Давно, но не ударил же им Саньку. Убить мог? Это Дюшка-то? Саньку! Отпугивать только. Санька—трус: на сильного никогда!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

— Слышите?.. Он и сейчас... Он теперь меня... Мне тоже кирпич... Житья Санька не даст! Мне тоже кирпич нужен!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

Санька стоял посреди кабинета всклокоченный, с пятнистым лицом, с выкаченными зелеными глазами, вывернутыми карманами.

Лежал рыжий кирпич на зеленом столе. Все молчали, пораженные яростью тихого, маленького, слабого Миньки. И только Зоя Ивановна, молодая учительница, изумленно выдохнула свое:

— Как-кой ужас!

20

Александр Матросов своей грудью закрыл амбразуру с пулеметом, чтобы спасти товарищей. Александр Матросов — герой, человек великой души, о нем написаны книги.

До сих пор великой души люди — те, кто своей грудью, своей жизнью ради товарищей! — жили для Дюшки только в книгах. В Куделине таких не наблюдалось. Великой души люди, казалось, непременно должны быть и велики ростом, широки в плечах, красивы лицом.

У Миньки узкие плечи, писклявый голос. И жил Минька все время рядом, на улице Жан-Поля Марата, ничего геройского в нем не было — самый слабый из ребят, самый трусливый.

И вот Минька против Саньки! Санька слабых не жалеет. Санька не даст проходу. Минька добровольно испортил себе жизнь, чтоб спасти Дюшку. Закрыл грудью.

А ведь он, Дюшка, всегда немного презирал Миньку — слабей, беспомощней.

От Дюшки шарахнулась Римка, от Дюшки отвернулся Левка Гайзер, дома Дюшка устроил истерику. Сам себе противен. Стоит ли такому жить на свете? Кому нужен?

Оказывается, нужен! Грудью за него.

Минька, Минька...

...Утром Дюшка повернул не к школе, а к Минькиному дому. Санька станет сторожить Миньку. Рядом с Минькой всегда будет он, Дюшка.

Портфель непривычно легкий, тощий — кирпич больше не нужен. Пусть супется Санька, нет перед ним страха! Пусть сунется к Миньке!

Минька нисколько не удивился, что Дюшка ожидает его у крыльца. В мешковатом, старательно застегнутом на все пуговицы пиджаке, со своим большим потертым ранцем, узкое лицо прозрачно и сурово. Эта суровость так была непривычна для Миньки, что Дюшка вместо «здравствуй» встревоженно спросил:

— Ты чего?

— Ничего, Дюшка.

— Нет, Минька, что-то есть, я вижу.

— Ты слышал, как он вчера, каким голосом: «Н-ну-у, Минька»? Убьет, ему что.

— Пусть прежде меня.

— Но ведь ты же не всегда со мной ходить будешь.

— Всегда, Минька.

— Да я и сам хочу... Сам за себя! Как ты, Дюшка.

Минька судорожно расстегнул пуговицы, распах-



нул полу — за брючным ремнем торчала деревянная ручка ножа.

— Ты что?

— Кирпич хотел, по с кирпичом меня Санька сразу... Это тебя он с кирпичом боится, а меня — пет. Такого гада мне только... железом.

— С ума сошел, Минька!

— Сойдешь, когда всю ночь уснуть не мог.

— Унеси, Минька, пож обратно.

— Нет!

— Силой, Минька, отберу!

— Нет, Дюшка, не сделаешь этого.

— Тогда прошу тебя, Минька...

Минька помялся, поежился, помигал и уступил:

— Я его под крыльцо пока... С тобой буду без ножа. А без тебя, Дюшка... Хочу сам за себя, как ты.

Нелепый кухонный нож с деревянной ручкой пугал Дюшку. Но Минька стал вдруг упрям.

21

Под вечер, после работы, мать и отец принимали гостя. Вернее, гость пришел только к матери. Тот самый Гринченко, о котором Дюшка так часто слышал: еле жив, при смерти. Два дня назад Гринченко выписали из больницы, сейчас его угощали чаем.

Это был вовсе не хилый человек, а громаздкий, с глухим, нутряным, густым голосом, с темным губастым лицом, сплавщик, одетый по-праздничному в темно-синий в полоску костюм, в галстук, завязанном таким толстым узлом, что он мешал двигаться массивному подбородку. И только запавшие глаза и тупые кости скул, проступающие сквозь темную пористую кожу, напоминали о болезни, не совсем еще покинувшей мощное тело.

Гринченко пришел в гости к матери, по разговор вел лишь с отцом.

— Скажу вам, Федор Андреевич, какой это человек Вера Николаевна, супруга ваша. Святая сказать — мало! Кто ей я? Ни сват, ни брат, даже за столом вместе не сидевали, хлеб, соль, водку пополам не делили. И добро бы я, Степка Гринченко, уж очень полезен державе вашей был. Так нет этого. Работяга обычный. Любил рубль длинный сорвать, водку любил, баб и всякое прочее безыдей-

ное. И вот из-за меня, из-за безыдейного, эта жепщина ночами не спала, своим здоровьем тратилась, можно сказать, колотилась самым героическим образом.

Мать виновато посмеивалась, а отец серьезно соглашался:

— Что есть, то есть, не отымешь — самозабвенна.

— Тыщи лет люди богородицу хвалпли. А за что, позовьте спросить? Только за то, что Христа родила да вынянчила. Любая баба на такое, скажу, способна. Вот пусть-ко богородица с эдаким, как я, понянчится. Не ради бога великого, чтоб потом аллилуйю многопе века пели, а ради простого человека, без надежды всякой, что тебе там вечную славу отвалят пли награду золотую на грудь. Тут тебе богородицы мало, тут уж выше бери.

— Богородица — это суеверие, Степан, — наставительно отвечал отец. — А старые суеверия мы жизнью бьем не в первый раз. Так что из ряда вон выходящего ничего не произошло.

— Ой, не скажите, Федор Андреевич, не скажите. Вы думаете, Вера Николаевна мне только требуху мою вылечила — нет, душу вылечила. Открылось мне: раз я, Степан Гринченко, героического стою, то и держаться я в дальнейшем должен соответственно, не распыляясь на мелочах. Не-ет, теперича я так жить уже не стану, как жил. Буду оглядываться кругом, да позорчей. Сколько лет я еще проживу, Вера Николаевна?

— Я не гадалка, Степан Афанасьевич. Наверное, вас еще надолго хватит.

— Сколько пи проживу — все людям. Осветили вы мне нуто, Вера Николаевна, ясным светом.

— Очень рада такому побочному явлению.

— Эх, для вас бы что сделать! Вот было бы счастье. Не сумею, поди, — мал. Да-а!

Гринченко поднялся и стал чинно за руку прощаться, а Дюшка кинулся к окну, чтоб видеть, как спасенный матерью от смерти человек пойдет на своих ногах по улице среди здоровых людей.

Дюшка припал к окну и увидел не Гринченко, а... Римку. В легком платьице в клеточку, в темных волосах солнечной каплей цветок мать-мачехи, и курчавишки у висков, и нежный бледный лоб над бровями — до чего она не похожа на всех людей, рождаются же такие на свете. Солнечная капелька цветка в волосах...



Римка исчезла в подъезде, появился Гринченко, не обративший на Римку никакого внимания. Нескладно-громоздкий, нарядный в своем костюме в полосочку, он бережно выступал, сосредоточенно нес в себе свое спасенное здоровье, свою вылеченную Дюшкиной матерью душу — весь в себе.

После Римки Дюшка снова обрел способность видеть то, чего не замечают другие. Сейчас глядел на выступающего бережным шагом Гринченко и видел в нем то, чего сам Гринченко и не подозревал: слишком большую занятость собой, своим неокрепшим здоровьем, своим исцеленным духом.

Гринченко, не заметив, промаршировал и мимо Минькиного отца, путающегося в полах своего длинного пальто. А Минькин отец спешил. Дюшка взгляделся в него, и по спине поползли мурашки — что-то случилось. Никита Богатов бежал изо всех сил — размахивает рукавами, лицо без кровинки, рот распахнут, задыхается. Он пересек двор их дома, двинулся к крыльцу. Что-то стряслось! Что-то страшное!

А отец с матерью продолжали говорить о Гринченко, о том, как удачно тот «выскочил из болезни».

Дверь распахнулась без стука, бледный, потный Никита Богатов обессиленно привалился скулой к косяку.

- Вера Николаевна!
- Что?..
- Ножом...

И Дюшка все понял, Дюшка закричал:
 — Минь-ку-у!
 — Да, Миньку... ножом. И нож-то наш... Не знаю и что?..
 — Санька — Миньку! Санька — Миньку!!
 — Дюшка, помолчи! Где он?
 — В больницу повезли... Я к вам... Спасите, Вера Николаевна!
 — Санька — Миньку! Мама, спаси Миньку! Спаси, мама!!

22

Они вдвоем сидели у телефона, ждали звонка из больницы. Дюшка объяснял отцу, как кухонный нож Богатых оказался в руках Саньки:

— Я говорил Миньке: не смей, не бери! А он мне — Санька убьет, только железом спасусь. Ну, Санька и отнял у него нож этот и этим ножом... У Миньки любой бы отпял. Минька мухи не обидит.

— Черт! — Отец это слово произнес без своей обычной энергии, даже с тоской. Он сейчас как-то присмирел, не расхаживал по комнате, не пинал стулья, сидел напротив Дюшки, приглядывался к нему с непривычным вниманием.— Ты говорил: Санька лягуш убивал? — спросил он.

— Лягуш убивал, кошек мучил.

— Зачем?

— Так просто. Нравилось.

— Нравилось? Больной он, что ли?

— Что ты, пап. Здоровый. Здоровей Саньки только Левка Гайзер, он на турнике «солнце» крутит.

— Так почему, почему он ненормальный такой? Нравилось...

— Да пипочему. Таким родился.

— Родился?.. Гм... У Саньки вроде родители нормальные. Отец сплавщик как сплавщик, честно ворочает лес, выпивает, правда, частенько, но даже пьяный не звереет. Ни кошек, ни собак, ни людей не мучает...

— Пап, и Левка же Гайзер тоже на своего отца не похож. Левкин отец за жизнь, наверно, ни одной задачи не решил.

— Гм, верно. Обидней всего, Дюшка, что этого уroda еще и оправдать можно.

— Саньку? Оправдать?

— Видишь ли, получается, твой Минька против Саньки запасся ножом заранее, с умыслом. И наверное, он в драке выхватил этот нож. А Санька безоружный. Выходит, что Санька защищался, а нападал-то Минька.

Дюшка обмер от такого поворота.

— Пап, Минька и мухи... Пап! Кто поверит, что Минька — Саньку?..

— Верят, сын, фактам...

Факты... Дюшка часто слышал это слово. Отец, мать, учителя произносили его всегда уважительно. Факты — ничего честней, ничего неподкупней быть не может. Это то, что есть, что было на самом деле, это — суцая правда, это — сама жизнь. И вот суцая правда несправедлива, сама жизнь — против жизни, защищает убийство. Так есть ли такое на свете, чему можно верить до конца, без оглядки? Все зыбко, все ненадежно.

Дюшке было лишь тринадцать лет от роду, он не дорос до того, когда невнятные мысли и смутные опасения облекаются в отчетливые слова. Он не мог бы рассказать, что именно сейчас его пугает — слишком сложно! — он лишь испытывал подавленность и горестную растерянность. И отец, его взрослый, сильный отец, который смог поднять над поселком огромный многотонный крап, помочь ему был бессилён. А хотел бы, страдает, тоска во взгляде. Что-то есть сильнее отца, что-то без имени, без лица — невидимка!

— Пап,— произнес Дюшка сколовшимся голосом,— неужели Саньке будет хорошо, когда он вырастет?

Отец поднял голову, озадаченно уставился на сына, и зрачки его дрогнули.

— Если Саньке хорошо, мне, пап, будет плохо.

И отец медленно встал со стула, распрямился во весь рост, шагнул вперед, взял в широкие теплые ладони запрокинутое вверх Дюшкино лицо, с минуту вглядывался, наконец сказал:

— Да... Да, ты прав. Этого не должно случиться.

— Пап, Минька не виноват. Если даже и факты... Все, все пусть знают.

— Да... Да, ты прав.

Они оба вздрогнули — разлиvisto зазвонил телефон. Отец рванулся от Дюшки, схватил трубку:

— Слушаю!.. Так.. Так... Кровь?.. А родители?.. Не могут. Как же так, они родители, а кровь не подходит?.. А-а... Ну, хорошо, Вера, ну, хорошо. Я передам, я все ему передам.

И положил трубку обратно.

— Дело обстоит так, Дюшка: твоему Миньке надо переливать кровь. Ни мать, ни отец дать кровь не могут. Родители, а не могут, бывает такое. И тут Никита Богатов оказался неподходящ...

— Я дам кровь Миньке! Я!

— Дает кровь твоя мать. После этого ее сразу из больницы не выпустят. Так что нам надо ждать ее только к утру.

— Я знаю, знаю — мама спасет Миньку!

— Спасет, будь спокоен. Санькам — хорошо! Ну перет!.. За Минькой твоим будут следить во все глаза. Его мать оставили в больнице на ночь.

— А Минькин отец?

— Отправили домой. Нельзя же всей семьей торчать в больнице.

— Пап!.. Пап, ему плохо.

— Да уж можно себе представить.

— Пап, я сбегая, позову его сюда.

— Зачем?

— Ему плохо одному, пап. С нами будет легче. Я сбегая, можно?

Отец снова с прежним серьезным вниманием с минуту разглядывал сына, наконец сказал:

— Зови. А я тут пока чай организую.

23

За столом встретились два отца, более несхожих людей в поселке Куделино, наверное, не было.

Отец Дюшки — его побаиваются, его уважают, в нем постоянно нуждаются, все время его ищут: «Был здесь, куда-то ушел». Он заседает, он командует, перебрасывает, ремонтирует, ругается, хвалит, отчаивается, обещает надбавки: Федор Тягунов-старший — человек, распахнутый для всех.

Отец Миньки никем не командует, ничем не распоряжается, больше беседует сам с собой, чем с другими, он и всегда-то пришиблен, а сейчас — лицо серое, глаза красные, в расстегнутом вороте рубашки видна выпирающая ключица, хрящевато-тонкая, жалкая, по ней видно, какой он весь ломкий, жидко склеенный, особенно рядом с ширококостным, плотно сбитым Дюшкиным отцом.

Никита Богатов не сразу согласился идти с Дюшкой. Дюшка его застал в пальто, сгорбившимся за столом. Он с трудом оторвал от пустого стола взгляд, уставился красными глазами на Дюшку, долго не понимал, чего от него хотят, наконец понял, спросил:

— Зачем?

Дюшке было трудно объяснить, зачем он зовет его к себе.

— Папа просит... попить чаю.

Никита Богатов глядел на Дюшку, помигивал красными веками, наконец тихо продекламировал:

В огне и холоде тревог —
Так жизнь пройдет. Запомним оба...

И вдруг передернулся лицом, плечами, словно проснулся, заговорил захлебываясь:

— Не слушай меня, мальчик. Я клоун, я паяц! Я живу чужими мыслями, чужими словами. Живу невпопад. Меня не стоит жалеть.

— Мама спасет Миньку, мама обязательно спасет! Она кровь свою дала.

Минькин отец заволновался:

— Да, да, меня зовут. Меня не часто зовут, а я по привычке паясничаю, строю из себя непонятого гения.

— Идемте.

— Да, да... Я благодарен. Не помню, когда меня звали к себе.

И вот отец Миньки сидит напротив Дюшкиного отца. Дюшка вместе с ними за столом.

Дюшкин отец косится на горбящегося Никиту Богатова с опаской, начинает с неуклюжей осторожностью:

— Странная ты личность, Никита. Я не говорю плохая — странная.

— Не стоит со мной церемониться, Федор Андреевич.

— Церемониться не собираюсь, но и зря обижать не хочу. Кто ты? Для меня загадка. Образован, начитан, умеи ведь, а поставить в жизни себя не сумел. Пружинны в тебе какой нет, что ли?

— Пружина есть... То есть была пружина, но шальная, которая заводит не силы, не энергию, а самомнительность.

— Самомнительные-то обычно выбиваются выше, чем им следует, а ты, прости уж, сколько тебя знаю, — камешком ко дну идешь. В областной газете работал — бросил. Почему?

— Из-за самомнительности.

— Гм...

— Быть газетным поденщиком, править статьи о силосе, о навозе — нет! Мне же «уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинут», мне свыше предназначено «глаголом жечь сердца людей». Газета — смерть для возвышенной души. Надо жить в гуще простого народа, черпать от него вдохновение. Я убедил жену, я забрал свои тетради, заполненные рифмованной пачкотней, и появился у вас в Куделине. А дальше?.. Дальше вы и сами видели. На сплаве выкатывать бревна слаб, сунулся в контору... Камешком ко дну. Хотя нет, барахтался и пачкал бумагу, рифмовал, заведенная пружина действовала: «Глаголом жги сердца людей!» Я любил чужие глаголы и рассчитывал — кто-то полюбит мои, боялся признаться: мои глаголы серы, серы, стерты, любить не за что.

Богатов говорил мечущимся, срывающимся голосом, при каждом признании весь передергивался от отвращения к себе. Дюшкин отец слушал его с откровенным недоумением, почти с испугом.

— А может, все-таки... — произнес он неуверенно.

Никита Богатов перебил его кашляющим смешком:

— Вот-вот, а может, все-таки я талант. Я... я убаюкивал себя этими словами много лет. И себя и жену... Камешком ко дну. Но если б я только один камешком, но ведь и ее и сына... Они же связаны со мной. Я любил ее: складки ее платья, движение ее бровей, звук ее шагов, ее улыбку, ее усталость! Весь мир несносен, единственная радость — она. Радость и боль! И ее я топил!..

Дюшкин отец крикнул и почему-то виновато глянул на Дюшку, а Никита Богатов продолжал мечущимся голосом:

— Я рассчитывал на чудо — меня вдруг признают, ко мне придет слава, почет, деньги. Все положу к ее ногам. Писал в последнее время только о ней, только ее славил — сонеты, элегии, письма в стихах. И надоел, надоел ей до тошноты. Опа-то давно открыла, что я за глагольщик. И неприязнь ко мне, сперва спрятанная, потом откровенная, наконец воинственная. И унылая контора, жалкая зарплата делопроизводителя, сын без зимнего пальто... А у нее появляется мания, идея фикс — побывать раз в жизни на юге, увидеть море...

— Дадим путевку! — вскинулся Дюшкин отец, наконец-то почувствовавший, что чем-то может помочь.

Богатов отмахнулся вялой, бескостной рукой, голос осел, перестал метаться — глухой, тусклый:

— Вчера... с Минькой... Меня словно молнией шарахнуло, очнулся: прячусь от правды — бездарь, ничтожество, эдакий литературный наркоман... Хватит! Хватит!

— Что — хватит? — подобрался Дюшкин отец.

— Хватит тянуть камнем.

— Это верно.

— Пора освободить их от себя.

— То есть как это — освободить?

— Не все ли равно — как.

Дюшкин отец навалился грудью на стол, звякнули чашки.

— Опять?! — с придыханием.

— Что — опять, Федор Андреевич?

— По-новому угорел. Тогда — к вершинам славы, а теперь в пропасть вниз головой. А может, в середине зацепишься, с головы на ноги встанешь, по ровной земле походишь?

— Ходить по земле, надоедать людям своей особой, уверять себя, что исправлюсь?... Э-э, Федор Андреевич, зачем же тянуть песню про белого бычка?

— Испакостил бабе жизнь и бросаешь, а еще — складки платья, усталость даже... И не просто, а с форсом — мол, вот я какой самоотверженный, вниз головой, помните и страдайте. А так и будет — станут помнить, станут страдать! Сукин ты сын, Никита!

Никита Богатов беспокойно задвигался, казалось, стал что-то искать вокруг себя.

— Ну что?.. Что?.. На что я способен? Только на это. Ни на что другое!



— Эт-то, друг, мы еще посмотрим. Виноваты — мимо глядели. Увидели, теперь возьмемся. Я возьмусь! Я из тебя человека сделаю!

И Дюшка насторожился. Он сидел, молчал, слушал, внимательно слушал. Последние слова отца — «человеком сделаю» — напомнили ему слова матери: «Наш отец любит ковать счастье несчастным на их головах. Не заметит, как человека в землю вобьет от усердия». Как бы нечаянно отец не вбил в землю Минькиного отца.

— К делу тебя приспособлю. Наше дело грубое, древесное, славы не отваливает, зато жить дает. Я тебя суну туда, где некогда будет в мечтаниях парить — шевелись давай! Я и с женой твоей по-крупному поговорю...

— Только не это, Федор Андреевич!

— Молчи уж! Право слова потерял!

— Не трогайте ее, Федор Андреевич!

— Не бойсь, плохого не сделаю!

— Пап! — подал голос Дюшка.

— Э-э, да ты тут! Ты еще не спишь?

— Пап! Тебя просят — не делай!

— А ну спать! Здесь разговоры взрослые, не твоего ума дело!

— Я лягу, пап, только слушай, когда просят. Ты и с мамкой так — она просит, ты не слышишь.

— Ты что? Просит — не слышу. Не приснилось ли?

— А помнишь, мамка жаловалась, что ты ей всего-навсего один раз цветы подарил?.. Это ж она — что!.. А ты не понял.

Негодование — вот-вот взорвется! — затем досада, остывающее недовольство, накопец смущение — радугой по отцовскому лицу.

— Ладно, Дюшка, ложись. Мы тут без тебя решим, — сказал отец.

Дюшка поднялся, подошел к Богатову:

— Если Миньке еще кровь пужна будет, тогда я дам.

— Хороший у вас сын, Федор Андреевич.

— Минька лучше меня, — убежденно возразил Дюшка.

Раздеваясь в соседней комнате, Дюшка видел в раскрытую дверь, как его отец сел напротив Богатова, положил ему на колени руку, заговорил без папора, деловито:

— Мне крановщики нужны. Работа непростая, но платят прилично. Учиться тебя пошлю на курсы, три месяца — и лезь в будку. А то ходишь, шаридь, себя ищешь...

Отец все-таки хотел сделать несчастного Никиту Богатова счастливым — сразу, не сходя с места.

Дюшка еще не успел уснуть, когда отец, проводив гостя, подошел, склонился, зашептал:

— Слушай: мне сейчас нужно уехать. Не откладывая! Спи, значит, один. А я утречком постараюсь поспеть до прихода матери.

Но мать пришла раньше.

Дюшка проснулся оттого, что услышал в соседней комнате ее тихие шаги, ежеутренние, уютные шаги, опрокидывающие назад время, заставляющие Дюшку чувствовать себя совсем-совсем маленьким.

Он выскользнул из-под одеяла:

— Мама!

Мать еще не сняла кофты, ходила вокруг стола, не прибранного после вчерашнего чаепития двух отцов и Дюшки.

— Мама! Как?..

У матери бледное и томное лицо — обычное, какое всегда бывает после ночных дежурств. Не видно по нему, что она отдала свою кровь.

— Как, мама?

— Все хорошо, сынок. Опасности нет.

— А была опасность?

— Была.

— Очень большая?

— Бывает и больше... Где отец?

— Он уехал, мам. Еще вечером.

— Куда это?

— Не знаю.

Мать постояла, глядя в окно на большой кран, произнесла:

— Опять у него какую-то запань прорвало.

— Не говорил, мам. Не прорвало.

Мать загляделась на большой кран.

— Тебе нравится, когда тебя хвалят? — спросила она.

— Да, мам.

— Мне тоже, Дюшка... Почему-то мне хотелось, чтоб он сегодня похвалил меня... и погладил по голове.

— Ты же не маленькая, мам.

— Иногда хочется быть маленькой, Дюшка, хоть на минутку.

Пришла Климовна, гладко причесанная, конфетно пахнущая земляничным мылом, принялась охать и ахать насчет Саньки:

— Не хочет собачья нога на блюде лежать, так под лавкой навалается.

О Миньке на этот раз она ничего плохого не сказала, ушла на кухню, деловито загремела посудой.

По улице зарычали первые лесовозы. День начинался, а отца все не было. Мать ходила из комнаты в комнату, не снимая с себя рабочей кофты. Дюшка думал о ее словах: хочется быть маленькой и чтоб отец погладил ее по голове. Думал и смотрел в окно, ждал отца, который так нужен сейчас матери. Климовна собирала на стол завтрак, и Дюшке пришлось оторваться от окна.

Отец вырос на пороге с каким-то газетным пакетом, который бережно держал перед собой обеими руками. Он улыбался так широко, радостно, что заулыбался и Дюшка.

— Вот! Держи! — Отец шагнул к матери и опустил на ее руки невесомый пакет.

Мать заглянула под бумагу и — порозовела.

— Откуда?

А отец светился, притоптывал на месте, глядел победно.

— Откуда?..

— Ладно уж, похвастаюсь: ночью в город сгонял на катере...

— Так ведь и в городе не достанешь ночью-то.

— А я... — Отец подмигнул Дюшке. — Я с клумбы... Милиции нет, я раз, раз — и дай бог ноги!

До города по реке было никак не меньше ста километров, не удивительно, что отец опоздал.

— Mam, что там?

Опа осторожно освободила от мятой газеты букет — нервно вздрагивающие цветы, белые, с узорной сердцевинкой. И Дюшка сразу понял — нарциссы! Хотя ни разу в жизни их не видел. Нарциссы не росли в поселке Куделино, а когда отец дарил их матери, Дюшки не было еще на свете.

Самым знаменитым человеком в поселке вдруг стал... Колька Лысков. Его теперь останавливали на улице, вокруг него тесно собирались взрослые, слушали раскрыты. Колька Саньке не помогал, Колька вообще Саньке никакой не друг, не приятель, он даже на дух Саньку всегда не выносил, только боялся его: «Такому — что, такой и до смерти может!» И Колька видел все своими глазами, как Санька Миньку... Колька любил смотреть драки, сам в них никогда не влезал, это знали все ребята. И Колька взхлеб рассказывал, поносил Саньку, хвастался, что его, Кольку, вызывали на допрос в милицию, что он там честно, ничего не скрывая, слово в слово...

Колька стал знаменит, но силы у него от этого не прибавилось, а потому он начал соваться к Дюшке то на перемене, то по дороге из школы:

— Дюшка, а у меня леска есть заграничная, право слово... А хочешь, Дюшка, я для тебя у Петьки старинный пятак выменяю?.. Дюшка, а Сапка-то тебя боялся, право слово, я зна-а-аю!

Саньку теперь, должно, уберут из поселка, Дюшка будет первым по силе среди ребят улицы Жан-Поля Марата. Не считая, конечно, Левки Гайзера.

Дюшка гнал от себя Кольку:

— Уходи, макака, по шее получишь!

Колька послушно исчезал, но зла не таил, все равно славил Дюшку: «Честный, храбрей нет никого... Один против Саньки!»

Дюшке разрешили навещать Миньку в больнице. На больничной койке укрытый до подбородка Минька казался почему-то большим, почти взрослым, вовсе не таким шкетом, каким он выглядел на улице. Быть может, потому, что из-под одеяла выглядывала лишь одна Минькина голова, а она крупна еще и потому, что Минькино узкое, с проступающими косточками лицо сильно изменилось.

— Минька,— сказал ему Дюшка при первом же посещении,— мы с тобой теперь братья, в нас одна кровь течет.

Как-то на улице подошел Левка Гайзер, в легкой тенниске, мускулистые руки уже прихвачены загаром, под гнутыми ресницами смущение.

— Давай, старик, что называется, выясним отношения.

Лично меня гложет совесть, что я у директорши рассказал о твоём кирпиче. Вроде бы донес, съябедничал.

— А мне, Левка, совесть и совсем покою не даёт — ни за что ни про что тогда тебе заехал.

— Все ясно, старик... Я тут над твоими кошачьиными секундами думал. Что-то в биологии со временем путаница. Медведь и лошадь примерно поровну живут на свете. Но медведь целые зимы спит. А когда спишь, время сжимается, исчезает даже. Выходит, что у лошади больше времени в жизни, чем у медведя. А если на людей перенестись... Я случайно узнал, что бабка Эйнштейна в один год с Эйнштейном родилась. Эйнштейн умер, бабка живёт, наверно, ещё не один год протяпет. Сравни их время. Тут уж такая относительность — с ума сойдёшь. Вот бы разобраться, найти общий закон.

— Левка, ты что? Ты же бесконечность хотел искать, чтоб люди по второму разу жили.

— Что-то я стал остывать к этой проблеме, Дюшка.

— Да как можно, Левка? Важней этого ничего нет!

— Что-то меня отталкивает, старик. Механистично уж очень.

— Механистично!.. Да плевать! Зато важней ничего нет на свете! А я тут, Левка, такое открыл... — И Дюшка зашнулся, но только на секунду: была не была, сказал же Миньке, скажет и Левке. — Открыл, что одна девчонка на жену Пушкина похожа!

— Ну и что?

— Как это что, Левка? Может, она второй раз... Может, она в первую-то жизнь женой Пушкина...

— Ерунда, — серьёзно возразил Левка.

— Ты и про кошачьи секунды говорил — ерунда. А теперь из-за них важную для людей проблему бросаешь.

— Я же тебе тогда объяснял — бесконечность нужна. А жена Пушкина и всего-то сто лет назад жила — мгновение!

— Сто лет — мгновение? Ну уж!

— Рядом с бесконечностью и тысяча лет мгновение и миллион!

— Все равно вдруг да... атомы, долго ли им. Разве может такого?

Левка замаялся, кисленько замаямлил:

— Теоретически, конечно, не исключено. Но уж слишком мала вероятность. Ничтожна.

— Ага! Все-таки может! — восторжествовал Дюшка.

— Теоретически можешь ты вдруг ни с того ни с сего в воздух подняться.

— Ну, это совсем не то.

— То. Вероятность примерно такая же... Кто эта девчонка, если не секрет?

Дюшка ждал этого вопроса и боялся его. И все-таки он застал его врасплох, кровь ударила в лицо, пришлось поспешно отвернуться. «Если не секрет?» Не назови — не знай что подумает. Левка не Минька, не отмахнешься. И Дюшка сказал в сторону, хотел как можно равнодушной, но не получилось — сорвался предательски голос:

— Римка... Братенева.

— А-а.— Голос у Левки не дрогнул.— Нет, Дюшка. Римка — женой Пушкина... Нет. Девчонка как девчонка.

Стало вдруг просто скучно. «Девчонка как девчонка» — обидел Римку. Лучше бы самого Дюшку. Мускулистые руки, загнутые ресницы, дымчатый пушок над верхней губой — красивый парень Левка Гайзер. Красивый и очень умный.

25

А между тем весна шла. Полностью распустились листья на деревьях. Кончились в школе занятия. Миньке в больнице разрешили подниматься с койки, выходить во двор.

Белые нарциссы давным-давно завяли и засохли.

Дюшка вырвал из сочинений Пушкина портрет Натальи Гончаровой, повесил над койкой. Скорей всего, Левка прав: Римка не жила сто лет назад, не умирала, и родилась, как все, и, наверное, как все, проживет всего одну жизнь. Как все, по какое это имеет значение?

Он по нескольку раз в день встречал Римку, и всегда у него обрывалось сердце... По нескольку раз каждый день.

Случилось невероятное. А может, это и должно было случиться рано или поздно.

Дюшка первый раз в году выкупался. Река еще не прогрелась, и Дюшка в прилипшей к телу рубашке, с мокрой головой бежал с берега бодрой рысцей, старался согреться. И наткнулся на нее. Она стояла на тропе, квыряла пос-

ком туфли землю. Нельзя же было проскочить мимо, словно не заметил, да и ноги вдруг перестали слушаться.

Дюшка остановился, она подняла голову, и глаза их встретились. У нее от ресниц падала прозрачная тень, и румянец на щеках какой-то глубинный, пушистый, и колечками волосы у нежных висков.

Она спросила:

— Вода очень холодная?

— Не очень.

— А почему ты дрожишь?

— Не от холода.

— Отчего?

Сам для себя неожиданно он сказал:

— Оттого, что тебя вижу близко.

Она несколько не удивилась, она только опустила ресницы, спрятала под ними глаза. Мягкие тени падали от ресниц, рдел румянец, тронутый незримым пушком, замерли приоткрытые губы. Она ждала, что скажет он дальше, готова слушать затаив дыхание.

И он говорил трудным, горловым, спотыкающимся голосом:

— Римка... я... я... никуда от тебя не могу спрятаться... Я... я... тебя... люблю, Римка.

Тенистые ресницы, застывшее лицо, она слушала, но не собиралась помогать барахтающемуся Дюшке. И Дюшка бросал ей горловые, измятые слова:

— Я знаю, что ты... Что Левка... Я это знаю, Римка... Левка хороший парень. Очень! Он лучше меня... знаю...

И по ее отстраненному, замороженному лицу прошла смутная волна.

— Если хочешь знать, я даже рад, Римка... потому что не кто-нибудь, а Левка... Умней его — никого... Рад, что он...

Он вдруг почувствовал, что его несвязная речь походит на заевшую пластинку, и замолк, уставившись на Римкины ресницы.

А над их головами, над рекой, играющей вдребезги расколотым солнцем, плавала чайка, манерно — и так тебе и эдак! — выламывала крылья, одна в синем океане, капризная от обилия свободы.

Римка ковырнула носком туфли землю, выдохнула:

— Он меня — нет...

— Кто, Римка? Левка, Римка? Тебя, Римка? Нет?

Чуть-чуть кивнула, чуть громче с тоской выдавила:
— Он только книжки свои любит.

Под опущенными ресницами родилась колючая искорка, поиграла робким лучиком и освободилась от плена — прозрачная капелька, нехотя ползущая по глубинному, опущенному румянцу.

Слеза не по нему. Слеза пролита по другому — счастливцу, не осознающему своего счастья. Хоть кричи! И он еще не успел сказать ей, что она похожа на красавицу Гончарову — «чистейшей прелести чистейший образец». И неизвестно, просто ли похожа, обычна ли? Не из глубины ли времен она? Не из тех ли, кому из века в век изумлялись поэты?

Над головой дыбилося оглушающе синее небо. В синеве белым лепестком поигрывала свободная чайка. В стороне, судорожась в веселой лихорадке, до рези в глазах сверкала река. Лезла из-под земли умытая зелень. Прекрасный мир окружал Дюшку, прекрасный и коварный, любящий играть в перевертыши.